

Василий Киляков

## Фрески

## Кентавр

*Из цикла «Записки пожилого человека»*

Ребёнок, девочка неполных двух лет, ещё не говорит отчётливо, только слогами. Мызгает во рту кусок пирога и с высокой лавки закидывает на стол обеденный то одну, то другую ножку в кожаной пинетке. Она закидывает и смотрит испытующе на реакцию родителей. Глаза любопытные, синие, озорные, словно спрашивают: «А что вы сделаете, если я так?..» Глядя на неё, думал: сколько ей, этой девочке, придётся ещё перетерпеть, понять, почувствовать. И воспитания, и огорчений, связанных с воспитанием и испытаниями... Сколько ей ещё наживать опыта, а главное—зачем? Ведь всё кончается одним и тем же для каждого из нас... Это «наживание опыта» и сочувствия, умения сострадать через свою боль и сопоставление с другими—было бы никчёмной глупостью, если бы душа не могла бы относить этот опыт туда, в небытие, в пакибытие своё...

Нет, тут, верно, важен даже не сам опыт, а именно «изделие», полученное от всей жизни. И именно выковка этого «изделия», выковка души человеческой. Бог—кузнец, горшечник? Куёт и лепит. Думать так было бы примитивно, конечно. Что Бог—скульптор душ, но больше даже именно через чужие руки работает Он. Порой враждебные нам руки. Мы обижаемся на молоток и напильник в Божьих руках—так, как обижались бы именно на руки Творца. И все мы незаконченные изделия—незаконченные, пока ещё живём и дышим, пока в силах хоть что-то менять в себе по своей воле и воле Демиурга... Он держит нас, Он работает над нами. Мы податливые изделия, над которыми трудится Бог неустанно, обваливая нас в песке и тлене и притирая друг к другу. Обкатывая нас, как морские голыши, друг о друга. И именно море, океан—вот что наиболее, как стихия, идентично самой жизни, образу нашего бытия... Море, стирающее наши (друг о друга и каждому) бока.

Что же из этого следует? Зачем мы, «обкатанные», Ему? Неужели только такие мы и сможем продолжать бытие в «ином мире»?.. Иногда этокое «притирание» трагически и внезапно конечно. О чём это говорит? Лишь подтверждает то, что «у Бога все живы». Для Бога нет никакой разницы,

дышишь ты или ушёл к Нему. Плоть—вовсе не подтверждение этой жизни. Так скульптор или кузнец после того, как затвердеет изделие, доводит его напильником или молотком, сбывая лишнее.

...Девочка, присмирив, закинув ножку на стол, смотрела на взрослых. Стояла на другой и смотрела мне в глаза. Наверное, была удивлена, почему я не ругаю её и не удивляюсь, не поучаю её... Она, верно, кое-что уже понимает. А я думал о том, желал бы я снова стать вот таким первоизделием, глиной, самородком—и вновь испытать боль приобретения опыта, зачатков нравственности? Желал бы я оказаться на её месте и, испытывая этот мир, баловаться в нём? Какое же изделие пожелает вернуться в скалу, в глину, в ничто?

Судя по обилию боли и всяческих перипетий в жизни человека, одна из главнейших целей жизни—в воспитании именно воли. Терпение и смирение—качества, о которых так много говорит церковь. Не податливость и слепая покорность, вовсе нет, даже напротив: следствие воспитанной, готовой уже воли к Божьим приказам, к приятию Промысла, к отсечению своей воли—вот величайший героизм и цель жизни. Не «прыжок веры» как абсурд, а именно высота духа...

Главная ошибка «волюнтаристов» (Ницше, Шопенгауэр, Макиавелли...)—в том, что они полагают меру великой силы воли в проявленных победах над другими. Главный же показатель созревшей воли—способность побеждать именно себя: «Победа из побед—победа над собой».

Но для чего Богу волевой человек—или это значит, что Богу нужен воин? Не генерал, не майор, а именно солдат. Но в таком случае каковы же условия существования «там»? Если не мягкотелость, а именно жёсткость по отношению к себе и воля—как первейшие качества, необходимые для жизни с Богом, в «ином мире»? Значит, благолепие и беспечность рая—пустые выдумки? В «ином мире» необходим только сложившийся, крепкий человек. Не расслабленный и благостный «нюня», но кремь, истый воин, твёрдо верящий своему военачальнику в духе. Это обстоятельство хорошо понимали

первые святые, именно отсюда—тяжкий ежедневный их труд, вериги («Гнету гнетищего мя»), юродство, стояние на камне, бдения. И смерть, наконец,—как последний экзамен, самый жёсткий и бесповоротный. «Без права на пересдачу».

Тогда становится понятно, почему самоубийство—то есть не сдача экзамена, отказ, бегство с поля боя—не прощается Главнокомандующим. Часовой, покинувший пост, потому что было холодно или дождливо, нестерпимо морозно или страшно от приближения врага,—такой солдат не годен и на следующую ступень. Ступень, следующую для жизни души, может перешагнуть лишь мужественный. А эта жизнь по ту сторону, несомненно, есть, и несомненно, что бытие здесь—лишь подготовка в мир иной. Все рассуждения о том, что «мир абсурден» и ему нет до нас никакого дела, как ветру до цветочной пыльцы,—наивность. А значит, настоящая борьба—не здесь, а именно там. Именно там бой, а здесь лишь подготовка. И борьба «там»—она много сложнее, чем испытания здесь, раз «туда» отбирают лишь избранных, достойно выдержавших первые трудности здесь. Отсюда и вывод, что духи злобы поднебесные—вовсе не выдумка досужих бездельников.

Не случайно святые в Православии не только выдерживали бои уже в реальном мире, но даже и усложняли его: носили вериги до крови, и пост, и бдение, и постоянная молитва (то есть внимание к голосу Главнокомандующего, угадывание его святой воли).

Говоря об «архетипах» наций... «Странность», «непонятность» русского человека для иностранцев—хлебосолье, широта души, искренность и поиски искренности—всё это объясняется просто: русский живёт не этим миром, не только видимым миром живёт. Отсюда и непонятный для них героизм русских в войнах. И это генетически и кровно давно усвоено русскими и свойственно им. Так же, как оптимизм, хитрость, находчивость евреев в торговле, в делах денежных, ростовщических, как тяга к порядку, построению и легендарная храбрость немцев, замешанная на древней тяге к коллективному самоубийству, как некая петушина спесь, иронизм французов и тому подобное.

И вот, если уж он, русский, срывается в другую сторону—к воровству, к тратам,—тут тоже нет никакого удержу. Нет меры ни в чём. Потому что для него глубинно нет идеи самосохранения, им не ценится бытие этого мира, потому что он предполагает (и не без основания), что здесь это бытие его души не окончится, не погаснет. Ни один представитель никакого другого народа не кутит так безрассудно, часто—необъяснимо пышно и даже глупо, не «пыжит» так, как русский. Тут уж и цыгане, и «режь последний огурец», и много-много ещё чего. И эту оторванность, внушаемость

русского хорошо понимают западные (с основательно поломанными генетически кодами) народы, вернее, их предводители. Оттого и яростное навязывание нам, внедрение «бородатых Кончит», и «свобода» ЛГБТ-сообществ, и пляски юных «пчёлки» на европейский манер, истоки которых в американских публичных домах...

Насаждение страсти к имуществу, к деньгам, к потреблению, к индивидуализму (в пику соборности) обрело невиданные масштабы. Всё, что разобщает, индивидуализирует, ослабляет Россию, всё, что тащит в иную сторону от соборности, сплочения и взаимной приязни, прививают правдами и неправдами. Уничтожение крестьянства, войны и революции, внедрение доллара в Россию—всё это несказанно ослабило страну. Принуждённая страсть к доллару девальвировала победу СССР во Второй мировой, сегодня долларовое пространство сжирает и Россию, и русский характер, «глобализует» их...

В метро, в вагоне подземной электрички,—девушка лет двадцати—двадцати двух. Сидит она, стиснутая со всех сторон, прижавшись к не старому ещё, живому и бодрому своему соседу. Она прильнула к нему справа и так обхватила его правую руку, обвила её, как обвила бы лиана дерево. Так забирает она всю руку его себе, обвив своими руками, как можно было бы прильнуть только к очень любимому человеку, на которого надеешься беспредельно, в котором уверен. Так кто же он? Отец? Муж?

Мы в детстве, мальчишками, так обхватывали гладкие белоснежные и белящиеся как известью стволы берёз, когда влезали на них. Что-то её ждёт, эту девушку?... Что ждёт этого её отца? Мы, мальчишки, так были уверены в том, что жизнь—бесконечно ценный дар. Мы были счастливы полагаться в этом уповании своём даже и на деревья...

Вот встали и вышли они, эти двое, на станции «Курская», а я долго ещё помнил их взаимное друг к другу тепло, нежность, доверие и преданность, такую очевидную для меня, пожившего и редко встречающего теперь нечто подобное.

...С какой яростью, живостью и с каким отвращением Иван Алексеевич Бунин писал книги о революционной и послереволюционной России, книги, по беспощадному исповедальному тону, пронзительности и остроте равные которым едва ли можно отыскать. И по язвительной наблюдательности ничего похожего не знаю. Его повесть «Деревня»—и та меркнет в сравнении с дневниками.

Вот слова, названия по отношению к ставшей социалистической России: «Под серпом и молотом», «Окаянные дни»... Это шедевры, образчики великой и праведной ненависти (если только

можно назвать шедеврами яростные заметки от весьма наблюдательного и памятливого писателя, с отлично «набитой» рукой, с точным и органическим чувством слова). Но вот что приходит на память: отчего же родного брата и своего учителя Юлия с проклятиями И. А. Бунин не упрекает нигде? Он любил и уважал его безмерно. Безмерно переживал его безвременную кончину... А ведь именно Юлий, этот не последний в своём значении «чернопеределец», народник и революционер, арестовывался не раз и даже ссылался.

Между ссылками учил Бунина французскому, учил журналистике. Сам был отменным журналистом. Разрабатывал и печатал программу революционных действий на будущее под выдуманным псевдонимом Алексеев. Был допрошен дознавателями и арестовывался, отбывал три года в Озерках. Основатель журнала «Среда», он печатал и работы Ленина, Плеханова. Уж коли быть объективным, то начинать бы И. А. если не с себя, то со своей родни. Когда узнаёшь это, по-другому видишь попытки советской власти «уплотнить» И. А. Бунина, обыски его матросами, бесцеремонные вторжения, которые так ранили писателя, выводили его из себя, мучили нестерпимой обидой и бессильной яростью до «трясущихся рук» и перебоев в сердце. Как огненно он записывал ощущения, обиду и ярость свои, «бьющееся сердце» своё, унижение до обидных слёз.

А вот запись его в 1918-м году: «Андрей (слуга Юлия) всё больше шалает, даже страшно. Служит чуть ли не 20 лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен и мил. Теперь точно с ума спятил. Служит ещё аккуратно, но, видимо, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговора с нами, весь внутренно дрожит от злости, когда же не выдерживает молчания, несёт какую-то загадочную чепуху. У него (слуги.—В. К.) вдруг запрыгали руки: „Да, да, летит (Россия в тартарары). А кто виноват? Буржуазия! И увидите, увидите, как её будут резать, увидите и вспомните тогда вашего генерала Алексеева». Как точен слуга, поразительно. И даже фамилия генерала и псевдоним Юлия-революционера вдруг совпали. Но вот диво дивное: Бунин И. А., повторяю, вовсе не винит ни родного брата, ни его друзей, ни отца своего... А ведь именно они, дворяне, так заморочили головы себе, и своим слугам, и самим себе—от безделья что ли, от своей спеси? И уж точно—именно от беспечности, от «большого ума». От сочувствия той народной массе, которая впоследствии разнесёт, разорвёт свою же страну вдребезги.

Не дворяне ли испортили жизнь и себе, и России? И не однажды. Этот героизм и самоотверженность героическая очаровали даже Толстого. Вспомним, с каким рвением Л. Н. Толстой взялся за роман о декабристах. Троих из декабристов он

отыскал и лично расспрашивал. И, изучив многое, вдруг проникся таким отвращением к событиям на Сенатской площади и их предыстории, что роман его о декабристах перерос в «Войну и мир», и мысль ушла совсем в иное русло. Страдавшие родственники И. Бунина, изучи они предмет и предысторию, тоже, пожалуй, разочаровались бы. Ведь князья ходили с красными бантами в петлице, а Синод поддержал февраль... Вот и Бунин—кажется, как ему не сочувствовать? Но кто, как не сами дворяне, растревожил «Михрютку», зарядил злобой и завистью? Кто, как не они сами, воспел «Двенадцать»?

А вот за год до того запись, в 1917-м году: «Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду „радикалов“ и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всем классам!» Предвзятость такова, что Бунин всю жизнь гордился своей дворянской кровью, а любимое слово у него—«барин», «барчук». И вот результат: уже через три года—такие строки в дневнике: «Сон, дикий сон! Давно ли всё это было—сила, богатство, полнота жизни—и всё это было наше, наш дом—Россия!» (1921 год).

А вот каковы были чаяния и заботы купцов и дворян накануне революционных событий? У того же Бунина читаем в дневнике запись от 1911 года. Обстановка уже предреволюционная. Пять лет назад опубликован рассказ Л. Андреева «Губернатор», три года назад—«Рассказ о семи повешенных», наделавший много шума, одобренный Горьким и многими... А Иван Ильин с его на то время приверженностью к анархизму, его «Бунт Стеньки Разина»—бомба при обыске в 1906 году. А ведь это Иван Ильин, впоследствии шесть раз арестованный и, наконец, высланный из России, оставленный в живых лишь по личному указанию Ленина, в библиотеке которого хранилась его работа (лучшая, на взгляд Ленина, работа о Гегеле). Многие другие—Бердяев, Шестов... И многое с предреволюционным запахом крови, гари печатал уже и сам А. М. Горький. Вот в дневниках Бунина: «Юлий привёз новость—умер ефремовский дурачок Васька. Похороны ему устроили ефремовские купцы великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли драть и покатывались со смеху, глядели, как он „старается“,—похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие... Тоже „сюжет“».

Да, «сюжет». И впрямь, кто и что видел и как видел—даже чрезвычайно наблюдательный и дальнзоркий Бунин. И всего через пять лет—около восемнадцати миллионов убитых и умерших от голода в Первой мировой и в Гражданской войне. И затем сданная, видимая уже, победа над немцем, проигранная война, которая должна была закончиться в Берлине парадом русских войск,

и уже пошиты были и будёновки с кителями из кожи для этого парада.

И будёновки, и кожанки наденет впоследствии чк, и — расстрелы, аресты, и пытки... Даже миллионам, «сочувствующим» революции, и «попутчикам» — смерть. Бунин и попутчиком не был. Вынужден был прятать записки своих дневников за подоконник с уличной стороны, чтобы не нашли при обыске. Впоследствии недалеко от дома, где он жил в Москве, на Поварской, недалеко от последнего его пристанища, откроют Дом литераторов.

«Русский колокол» И. Ильина и «Окаянные дни» зазвучали слишком поздно...

Перечитывал антологию русских поэтов и думал о величии Православия. Все эти поэты, даже позиционирующие себя как атеисты, всё-таки православные по самой внутренней сути своей. Величие их поэзии объясняется одним: это искренний плач об утерянной жизни души с Богом, сожаление об этом. Плач о великой утраченной Любви слышен, даже если и не называется напрямую в их строках. Эта «тоска по Богу» — в подтекстах, и она свойственна только русским национальным поэтам. Именно это ставит нашу поэзию выше очень многих и многого. Эта экзистенция, эта способность русских поэтов к созерцанию так очевидна...

Теперь я многое повидал и думаю, что жизнь любого человека — сама по себе уже подвиг. Доказать это просто. Каждый, если вспомнит самые свои трудные и неудобные в этом мире дни, обратит внимание на то, что теперь, когда прошло некоторое время, те дни вспоминаются гораздо легче, даже и не без удовольствия, не без ностальгии по давней, страшной жизни. И это при том, что сегодня при воспоминании о тех тревожных днях нам всё-таки комфортно. Уже это одно доказывает, что минувшее, ушедшее — всегда лучше настоящего, каким бы оно ни было. И, в свою очередь, подсказывает нам, что жизнь — всегда и любая — есть нелёгкий труд. И труд немалый. Если бы не свойство нашего мозга стирать из памяти страшное, негатив, жить было бы невозможно.

Порою на судьбу нашу выпадают будничные, незаметные, но великие подвиги, о которых так никто никогда и не узнает. По прожитым годам мы смотрим на эти труды наши как бы с берега в бурю на тонущие корабли...

«Настоящее уныло. Что пройдёт, то будет мило», — гениально заметил А. С. Пушкин. То же понимают и напоминают нам о том же и святые Православия. О том, что жизнь — великий труд, знают именно они, и лучше многих из проживших.

Силуан Афонский, когда у него диагностировали рак, пустился в пляс. Старцы благодарили Бога, когда чувствовали отпуст. И это не слабость. Они понимали, что отработали уже свою страду

в этой жизни, что Бог отзывает их из мира заслуженно. Бог призывает — значит, пора и отдохнуть. «Нет, нет, пора костям на место...» — говорила моя бабушка по матери, прожившая длинную жизнь, оставшаяся вдовой в двадцать лет после войны с детьми... «Нет, нет, пора, пора... под тополя».

Но человек, едва ли не каждый, старея, держится, хватается за ветхое своё жилище, за брненное тело своё. Ему, этому человеку, приготовлены уже хоромы светлые на высоте, в Свете, в Покое и в Радости. А он — нет, мёртвой рукой вцепляется — держится за то, что есть, за убогое, старое, больное и нищее. «Но крепко вцепались мы в нищую суму...» — писал Есенин, который и в двадцать был уже по-крестьянски умудрён талантом от рождения, как бы впитал опыт поколений крестьян-«христиан».

Нельзя отказываться от жизни в духе. Конечно, вряд ли убедит это рассуждение, но подумать есть над чем...

Язычество Европы — окончательное, полное уже. Возврата нет, точка невозврата пройдена. Шаржи на Христа и на Магомета — легко, и чтобы отстоять это странное право сумасшедших карикатуристов похабными рисунками оскорблять миллиарды людей, за это «право» выходят правители европейских государств и выводят тысячи ошалевших в Париже единомышленников... А и всего-то требуется не задавать того, что свято для других. Зачем? Разве мало тем для шаржей? Какие это странные рельсы «цивилизационной демократии», которую они постоянно экспортируют всем, навязывают, внедряют по всему миру, странам, которые их вовсе не просят об этом экспорте атеистических и релятивистских идей. И вот доэкспортировались уже до того, что и у самих ничего не осталось, никакой демократии в том виде, в котором её понимали бедные древние греки, сочинившие это государственное устройство.

Репортаж по тв о покупках в Европе ёлочных игрушек. В Европе, где, празднуя Рождество Христово, никто даже не упоминает уже, что Рождество это именно Христа, спасшего, спасающего мир от тлена и разложения уже при физической жизни. Только один из нескольких продавцов упомянул в Германии об этом, а упомянув, сказал: «Он Воскрес!» — и стремительно, точно скрываясь с места преступления, убежал в свой европейский магазин. Оказалось впоследствии, что это грек-эмигрант, и именно потому он так эрудирован и храбр.

Говорят, что в Америке — де больше верующих: из протестантов, католиков. На Пасху — вечеринка с Бараком Обамой, Анжелиной Джоли, Клинтонами и другими известностями, без упоминания даже словом о Пасхе Христовой, с плясками дикарскими, аттракционами и крутой попойкой.

Америка—это какая-то обнаглевшая вконец железно-громадная деревня, с утвердившейся плебейско-языческой цивилизацией, раненой психикой, истинно «железобетонный Моргоррод», вечно чем-то обиженная, недовольная деревня, выстроенная ввысь. Целая страна с психологией глубокой провинции. Не оттого ли там вечно доказывают (и себе, и другим) собственное превосходство? И утверждаются, как только могут утверждаться вечно неуверенные в себе подростки или стареющие, недалёкие сумасшедшие. Поразительны их вечно улыбающиеся, всем будто бы довольные физиономии и настрои: кому-то неведомому всё время доказывать свою состоятельность, отменную дееспособность и подчёркивать, что всё у них будто бы «о'кей».

Срамные пляски-канкан, всегда оскаленные «приветливо» зубы и пожириание напоказ килограммами и поштучно то червей, то саранчи, то горы бургеров, то огромных тараканов... И всё за доллары, всё за бумажку, на которую, сожрав какую-нибудь тварь, чтобы тебя стошнило, ты приобретёшь ещё один пылесос или ещё одну блузку и всю жизнь потом будешь сотрясаться от брезгливых и унижительных воспоминаний о той холодной и шевелящейся во рту мерзости, которую ты был принуждён жевать под камеры, под хохот и крики. Вспоминать этот несмываемый позор перед собственной совестью, эту алчность, эту подлейшую дурь свою—всю оставшуюся жизнь!

Что это за «менталитет»? Непонятно. Смотрю на «празднование» их Пасхи—праздника «без названия»—и укрепляюсь в своей уверенности, что эти точно уже не успокоятся, пока не наделают чего-то действительно страшного в окружающем мире. Пришла их пора: в Ливии ли, в Сирии, в Грузии, на Украине—какая разница?—не успокоятся, пока не запнутя о порог до крови... Они, эти янки, так и остались нацией подростков-дикарей, сбежавших от родителей и мстящих им за свою умственную и духовную несостоятельность, неполноценность. Акселераты, умственно незрелые, с огромными горами мышц, с атомной бомбой, семьдесят процентов мировых ресурсов пожирающие для прокачки этих мышц, но не знающие совершенно, что такое совесть и Бог. Даже напротив—регистрирующие и позволяющие сектам сатанистов быть и называться религией наряду с христианством.

Эта никогда не воевавшая на своей территории общность, никогда, по сути, не голодавшая (Великая депрессия не в счёт, она не сравнится с потрясениями и войнами, которые достигали Европы и Россию),—общность авантюристов в пятом колене, сбежавших от суда и войн из Англии, убеждённых глобалистов и узников собственного мнения о своей сверхдержавной акселерации, занятая лишь приобретательством, связанная лишь длинным долларом... Эта общность не может

и никогда не сможет ни воспринять, ни почувствовать Божьего замысла о мире, о каждом из рождённых в этот мир, потому что не ищут они следов и намёков на этот замысел, на промысел, на само бытие Божье. А без таких поисков ничто и сама жизнь человеческая, горсть пепла, не более того.

Стоит только взглянуть на их атаки магазинов в Дни благодарения, когда снижаются цены,—они сметают с витрин всё подешевевшее, бьют, давят друг друга. И здесь—самая суть их бытия, а ведь это—сытое общество с самыми высокими доходами на душу населения!

Нравственные инвалиды от рождения. И что ни скажи об этой стране—будет истинной правдой. Зачем же им и Пасха Христова? Они изгнаны были не только из Рая Богом, но убежали и от традиций, и от обязанностей, от совести. И теперь кичатся своей «самобытностью»—хотя какая самобытность в стране без корней? Большой театр в Москве—ровесник Америке!

Подмосковьем на электричке. Октябрь месяц. Вечереет, и время от времени капли косым пунктиром чертят стекло. Проезжаю посёлок, который отчасти строили итальянцы ещё в восемнадцатом веке. Теперь и не верится, что было когда-то время—и европейцы почитали за честь подзаработать в России. Строителями, губернёрами—и работали (с большой благодарностью!) за рубли.

Еду полями, когда-то заповедными, а теперь сплошь застроенными коттеджами, иные—до того безвкусной планировки, похожие на каменные мешки или камеры-изоляторы.

Мужичок с рюкзаком тяжело вышел на платформу, силясь, вскинул рюкзак на плечи. Дачник. Вскидывая тяжесть, от усилия и старания топнул ногой в резиновом сапоге прямо в луже. Лужа расплескалась, и тут же голуби на платформе вспыхнули белым исподом крыльев, захлопали, поднялись к небу. Три сизаря. Лужа пролилась в ручеёк, подхватила белое голубиное перо, потащила куда-то, как судьба тащит брэнную жизнь человеческую...

Мужичок шёл, щурясь, вглядываясь в жёлтые дали осенних берёз, в гущу лимонно-жёлтой и уже начинающей багроветь листвы, в пятнистую заросль осин. Низкие заброшенные дачки под трещавшими кронами и «коронами» разряда в сыром воздухе высоковольтных ЛЭП, заброшенные хибары и сараюшки, если только можно назвать сараюшками навесы из нестроганого горбыля в пять-шесть досок, кое-как отгороженные от бомжей ржавой колючей проволокой и ржавыми же остовами панцирных кроватей и тут же вбитыми брёвнами, досками. Это огородики вдоль железной дороги под ЛЭП. Видно, забраны они самозахватом, чтобы хоть как-то прокормиться простому люду,—под посадку картошки. Работы

в подмосковных городах нет никакой. Утренние электрички — битком в Москву. Там местный русский люд соперничает в наёмной дешёвизне рабочих рук с приезжими из дальних краёв вахтовиками. Контролёров-ревизоров — по десять человек на вагон электрички. А где на всё про всё денег взять? А пенсионерам? Пенсии едва ли хватит самому прокормиться. Вот и самозахваты под огородами. Смешные, с горькими слезами от взгляда на эти огородики-имения, впечатления и думы.

И тут — тронула электричка, и навес над платформой вдруг распахнулся, открылся вширь, в самую даль и в небо: не дом, а усадьба новоиспечённого дворянчика-олигарха. Дворец с башней рыцарских времён, с лифтом, бассейном, мансардой (теперь это модно называть «пентхаусом») — в четыре этажа. С гаражами, со скатами под землю, с фонарями в виде круглых шаров в одном метре от земли — по европейской моде. А по периметру дома-дворца какие-то голые гипсовые Дианы с кувшинами на плечах у фонтанчика, а за ними следом — ещё дачка. И ещё — какого-то пресыщенного, вероятно, проворовавшегося человечка, — с натянутым на заборе объявлением: «Продаётся».

Так и живём: и за Сирию имеем право вступить против американской военщины, и «результаты приватизации пересматривать не будем». Что же ждёт нас, страну, где всё на виду, но ни честь, ни право не действуют?

И не боятся они, эти новоявленные «дворянчики», ничего. А между тем ровно сто лет тому назад изголодавшийся люд взялся за вилы. Сто лет тому, как Россия покатила под откос из-за безмерной пропасти между богатыми «барчуками», гнавшими по Москве в «Яр», и голодными, замерзающими семьями рабочего люда. Сто лет прошло. Ничему не учит история, и вот опять бездна между «классами». Камеры видеозаписей, звонки с предварительным оповещением хозяйчиков, лампы на светодиодах, чтобы разом вспыхивали. Нет, брат, всё это не поможет тебе, не поможет и охрана в пятнистой форме на КПД, если голодный люд заскучает по твоим погребам и твоему сверхдостатку. Кто не желает делиться малым, тот теряет всё...

Так что же они, или так глупы навеки, или, напротив, умны? А может быть, близоруки? Или мудры, но как-то не по-русски? Я вышел вслед за мужичком на платформу, а вокруг этих «дворцов» — ни-ще-та-а! Голимая, крошечная. А ведь это не какая-то сибирская глушь, не пермские пустынные просторы, это почти что Москва!

Мужичок скинул рюкзак, долго стоял, прищурившись, на платформе, глядя из-под руки вдале. Потом загнул голенища сапог и полез в болотину. Выломал там себе батог на дорожку и вдруг крикнул мне, оглянувшись, крикнул властно, как пристало бы и самому Пугачёву (что меня удивило, крикнул незнакомому как родному):

—...Эй, милый, пособи-ка с рюкзачком, кажись, лямка оторвалась!

И мы, закинув рюкзаки повыше, потопали мимо забора-дворца-фазенды какого-то «нового» русского, каждый по своим делам...

По дороге, словно себе самому, но так, чтобы я слышал, он говорил:

— А я не завидую им. Пятиметровые заборы, боязнь за жизнь... Скучно, страшно...

И, ещё немного пройдя, то ли этим дворцам, то ли самому себе:

— Так, господа, знать, поживём ещё? А? Поживём-ом!..

И столько силы, плотоядной какой-то злобы было в этих словах, сказанных врасяг: «Поживём-ом!» — не зависти, а именно злобы, что я невольно подумал: «Да уж не Пугачёв ли и впрямь это, не Степан ли Разин или сам Болотников воплотился?» Коллективное бессознательно страшно орязает на полях моей страны. Слышат ли хруст орязины, в болоте выламываемой, во дворцах, на Манежной? Ох, вряд ли...

Необычное, неодинаковое влияние творчества, творческого процесса — на людей, обладающих настоящим даром, людей, носящих в себе искру Божью. Она или сжигает (эта искра Божья), изнашивает и нередко калечит, убивает человека (Ван Гог, Моцарт...), или, напротив, способствует долголетию творческого человека (тоже, конечно, не без срывов и терзаний), охраняет и поддерживает существование творца и художника в этом бренном мире (Толстой, Леонардо да Винчи, Тициан...).

Все люди, каждый из нас, приходят на эту землю, чтобы решить свои задачи. Найти свои ответы через боль и скорбь, холод и отчаяние. Но ответ на решённые задачи должен совпасть с ответами Божьими. А чтобы сошлось с ответом Божьим, указанным в конце задачника, необходимо задачник дорешать до конца, от корки до корки. У кого-то нет ума, у кого-то — воли, у кого-то — и того, и другого. Третий не даёт труда себе даже и задуматься. А между тем многие, даже и до глубокой старости в полном умственном здравии дожившие, не только не в состоянии успешно решать свои задачи, но даже и просто не в состоянии понять сам смысл того или иного вопроса. «Что требуется отыскать?» (Не говорю уже, что принять за неизвестное и обозначить: «икс, игрек, зет».) Но как же это странно! Не может же у жизни, этого строгого и большого явления, не может же быть таким низким КПД по осуществлению Божьего замысла о человеке.

И вот ноябрь. И листья, и яблоки в саду под окнами опали. Деревья голые, сиротски продуты и косяно, мёртво качаются под ветром. Но наверху

болтается одно яблоко, штрифель. Как же и почему же лишь оно одно и не упало? Непонятно.

Птицы, подлетая, проклевывали это яблоко навзвозь. Но оно не падает. Болтается от ветра, как теннисный мячик, скачет, как привязанное, но не падает... Какова его задача? Кормить ли собою, телом своим птиц? Или это дело случая: дожить, довисеть до невероятных заморозков? Или не зависит ни от чего? Или это яблоко — оно этакий «Прометей» растительного мира, бунтарь, саможертвенность которого очевидна? И уж тем более вопросы: так счастье ли вот это такое долгожительство, когда клюют и используют многочисленные замёрзшие птицы ли, дети ли, внуки, правнуки — благо ли? Решение ли это итоговой Божьей задачи, даже и практический экзамен? Не яблоком ли, таким же проеденным, доживали и философы многие, и ослепший А. Ф. Лосев, и В. Шаламов, и Д. Лихачёв? А во многих семьях старики? Но это примеры и приметы всем нам: «Держаться за ветвь жизни до последнего», — по непостижимой для нас воле самого Создателя.

Какое несчастье для человека его душа! Эта субстанция — удивительнейшая сущность, «сколок» Бога, божественного зеркала, вживлённый в плоть живого. Но вживлён этот «сколок» необработанным осколком. Колючим. Стекланным. Острым. Не дающим покоя. Постоянно напоминающим о себе острой болью, присутствием совести, неудобствами размышлений. Сравнениями. Рефлексией.

Невероятное смещение человека и животного. Этот кентавр, постоянно мучимый сомнениями и поисками высшего порядка и — самыми низкими плотскими желаниями. Какие сомнения по поводу Любви Божественной в этой боли от осколка и смещения сущностей посещают людей! Какие страсти терзают их по системе координат «свой-чужой» и по их «животной» сущности... Есть у Шопенгауэра метафора о человеческой воле — в виде терзающего самого себя великана, наносящего самому себе увечья. Я бы добавил, что он, этот великан (и даже именно кентавр!), терзает себя, пытаясь вырезать и вырвать этот драгоценный, острый и болящий осколок из своей плоти.

Ребёнок трёх лет, девочка, внучка. Прибежала ко мне, просит развернуть карамельку. Дала и ждёт. Я разворачиваю эту карамельку, освобождаю от слипшейся бумаги и вижу столько счастья от ожидания гостинца, что мне вдруг становится чрезвычайно, почти до боли, жаль её! И сердце моё вдруг так разогревается, таким сочувствием к ней, к её простоте и безобидной радости от сущего пустяка, от конфетки. Я осознаю вдруг, какая дорога «из жёлтого кирпича», дорога, длиною в жизнь, ждёт её, сколько всего и всякого ей суждено пройти, что становится так мучительно-нестерпимо...

Я нахожу ещё конфетку и угощаю её ещё раз. И вновь столько счастья и столько невыразимой радости! Как же мало, ничтожно мало надо для счастья вот этим маленьким, безобидным и трогательно-наивным людям — детям! Конечно, и огорчить их может тоже любой пустяк, и огорчить невероятно глубоко...

А ведь и я (теперь в это даже и не верится, так это было давно!) был таким же простым и наивным. Что и куда делось?..

Послушайте, я точно знаю, что все мы и каждый из нас вот так же просили у Бога благословения родиться на этой земле, как она, эта девочка, ждёт от меня конфетку. И мало того, мы ждали от Него этого подарка — прийти в эту жизнь — точно так же, как моя милая и маленькая Соня ждёт конфетку из моих рук... И мы Ему разве не казались наивными до слёз, до трогательного жаления нас? И не от этого ли «вспоминания» души так защемило моё бедное сердце много пожившего уже человека?

## Фрески

Пример отношения к своим людям «власти наместах». С криминальным душком торговля на Черкизовском рынке в Москве закрыта. Сотням людей, в основном — китайцам, из тех, что торговали без виз, без разрешений на работу и медконтракт, — предложено убраться на родину. Товар, контрабандный и опасный для здоровья, арестован. И вот тотчас же выезжает китайский посол вести переговоры на самом высоком уровне — с президентом России. Как это показательно в сравнении с трагедией пропавшего сухогруза «Арктик-си» с пятнадцатью российскими моряками на борту, который два месяца числился бесследно пропавшим вместе с моряками и при этом никому не был интересен, пока не забили тревогу близкие и родные пропавших без вести... эти семьи русских моряков. Результаты несопоставимы. И какое различное внимание к «своим» с той и с другой стороны.

Следом за тем — трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, пятьдесят восемь погибших. Тот же результат. Да что там — чернобыльцам, единицам из тех, которым удалось выжить, едва удалось уцелеть, защищая своими жизнями Союз, отказали в доплатах. И примеров по России — не счесть. «Кто же там, вверху, над нами всеми? Неужели манекены, неужели бездушные камни? Кто они?» — спрашивает меня отец, бывший моряк. Почему-то спрашивает именно меня.

Как это непонятно, страшно: бесконечна жизнь души человеческой!.. Это ощущение жизни души, тишайшей, сокровенной, таинственно и тонко передаёт икона «Троица» Андрея Рублёва. Она погружает душу верующего с первого же углублённого взгляда на икону — в такую тишину и покой, в такую любовь и гармонию, что забываешь о течении

времени... Взгляд на неё подобен воспоминанию души о первом причастии. Не случайно именно эта икона так широко живёт в православии, в храмах (да и не только в православных, а и в католических)... Казалось бы, противоречиво, странно, необоснованно. Но и здесь сбываются слова Тертуллиана, что душа человеческая по природе своей—христианка. Значит, и католик не может не чувствовать «своё поле» (пусть и отдалённо). Подлинная жизнь духа—именно тишина. В храмах, особенно после литургии, когда так тихо и догорают свечи, необыкновенно остро чувствуешь: тут Бог. И уже не пугает бесконечность этой тишины.

На цветной лужайке так внезапно, при травме и боли, в несчастье, вдруг открылось в одно мгновение: «Так вот он каков, этот цветной радостный мир!»—вдруг осенило ужасом, повеяло таким ледяным холодом,—да так и запомнился навсегда этот миг и это чувство: «Вот он каков, этот мир, он чёрно-белый!» И это чувство так неожиданно и трагично ударило, подобно тому удару, как редко и страшно, в трагические минуты ранений, когда ты уже вне тела, в одно мгновение, в один миг,—и ты уже не тот, что был прежде. Нечто подобное бывает и при внезапном очень сильном впечатлении—испуге, страхе, страсти: душа как бы отлетает на миг, покидает брненное тело...

Душа не чувствует прочность жилища в теле, легко и скоро может оставить его... Каждый знает это, испытывал не единожды. Впервые я испытал это чувство, нечто подобное ему, в детстве, лет в семь-восемь, прыгнув с огромной высоты в песок глубокой траншеи. Я хотел оказаться героем перед девочками. Но когда прыгнул, уже на лету так испугался глубины траншеи и высоты и долготы полёта, что обмер и как бы увидел себя со стороны. Впоследствии я не раз вспоминал это, когда случалось нечто подобное. «Ушла душа в пятки»,—говорит пословица. На деле же и того круче: даже и в пятках не остаётся души. Это иная, не телесная субстанция, и её невозможно погубить механической элементарной болью, ужасом, сразить смертью, она, душа, уходит из брненного тела, как вода сквозь пальцы...

...И тогда жизнь человеческая тотчас обретает совсем иной, не элементарный оттенок. И ужасается, обрадованная обегованным бессмертием. «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца брнного таит неизъяснимы наслажденья...»—поэт, не единожды стоявший под дулом мощного «дуэльного» пистолета, пробивающего навывлет грудь дуэлянтов, только он мог так точно и верно сказать.

Это было в Ташкенте, в гостинице «Дустлик», что означает в переводе с узбекского «Дружба». В те советские ещё времена—год восемьдесят шестой—восемьдесят седьмой—я брал номер и вдруг узнал

в лица циркачей вчерашнего представления. Они были невысоки ростом, смугло загорелы. Это была влюблённая пара, ошибки быть не могло: именно на их представлении был я вчера. Я сидел в партере. Невозможно было представить того, что вытворяли они, эти воздушные акробаты, в воздухе. Это был риск. Полёт. И всё без страховки. И вот теперь я встретил и узнал их тотчас в холле гостиницы. Взять номер в этой гостинице было непорочно, и не только потому, что она считалась центральной и благоустроенной, но и потому, что она помещалась в ста метрах от центрального «Алайского» рынка, торгаши оккупировали каждый номер, каждый метр. И вот по этажам этой и без того не простой гостиницы ходила эта влюблённая пара, выбирая себе вид из окна и кровать в номере «с видом». Они заглядывали едва ли не во всякий номер каждого этажа. Искали. Иногда смеялись, шутили, подтрунивали над чем-то—не то над порядком, не то над уборкой, обстановкой убогой, а больше—над кроватями в номерах. Ожидая своего поселения, я вынужден был сопровождать их и администратора. «Они, вероятно, съехали недавно, но забыли что-то, вернулись и теперь ищут»,—думал я с раздражением. И только исподволь понял, что это просто—влюблённая пара и что они так придирчиво выбирают антураж для своего пребывания, для любви.

Ни один номер решительно не годился: то кровать сломана или хромая, то вид угрюм, на какую-нибудь лагманную с разрешённым потреблением спиртного и на широкую автостраду. Им не важен был стол, они могли есть с ножа, без всяких сервизов, а вот кровать—это да! Они отыскивали её, как отыскивает голодный кусок мяса.

Лишь потом, много лет спустя, я понял, что жили они одним днём, мгновением до своего трагического выступления и любви под небом, под этим вечным небом. И каждая минута могла замереть внезапно, трагически. Они выбрали самый дорогой номер: за стеной администрации, вечно в прохладной тени, на втором этаже, над беседкой с повивкой плюща и дикого винограда. Всякий раз, когда они заходили в номер, они точно прощались друг с другом: глазами, руками, губами. И никогда, быть может, я и сам не ощущал так остро на их примере непоправимую экзистенцию этого мира. Они были красивы, ловки, удачливы, знамениты: афиши с самыми невероятными трюками пестрели на фасадах и заборах Ташкента... Где они, что с ними?..

И вот теперь, вспоминая временами эту пару, я думаю невольно: «А что такое и сама жизнь, как не затяжной прыжок из-под купола?» Думаю ещё, что они верно жили, так и надо. Это и есть—счастье.

Бродя по Берлину среди сияющих и благополучных «хаусов» и скучая по родине, я вдруг вспомнил

неизвестно откуда пришедшую поговорку: «Любит нищий своё хламовище».

А и в самом деле, чего не хватает? Сыт, обут-одет. Прохожу по вымытому с шампунем асфальту. Аккуратность и чистота повсюду такие, что любая из стран позавидует. А какие музеи! Порой целое здание строится под одну-единственную картину какого-нибудь модерниста. А театры! Зоосад «Цоо!» Скульптурные группы-памятники, университеты, каштаты. И всё-то в высшей мере отменно, а вот что-то вечно растревожено сердце русской тоской. Тоской по родине. Занот сердце, ищет, о чём позаботиться, о ком,— не о ком, и ничто не мило. Или это только у нас так, у русских? Русская черта? Ну, придет канадец в Америку— тоскует он по Канаде, «ностальгирует»? Или китаец? Да или нет? Ведь нет. Он отстраивает там, в Америке, целые кварталы-стрит, китаец. Быстро продвигает «продукт» и продвигается сам. Оттого и по численности там, в бескорневой Америке, русских— меньше всего, на жизненном пространстве, на всех этих «выселках лазерного мира космополитов», перекасти-поле...

И вот, бредя через Александер-плац, стал я вспоминать русские поговорки, в которых упоминается вот об этом остром чувстве тоски по родине. Те поговорки, которые помню. И удивился, сколько их вдруг пришло на память: «Мила та сторона (родина), где пупок резан», «О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет», «На чужой сторонке рад своей воронушке», «Свой дым глаз не ест», «Чужбина против шерсти гладит», «Сторона не дальняя, а печальна», «Русский— ни снегом, ни калачом не шутит»... А напротив: «Дальше солнца не угонят, носом в землю не воткнут», «Где спать лёг, там и родина». Противоположных мало. «И как неубедительно, впрочем,— думалось мне тогда, изнывающему по России уже с полгода,— как если бы заранее Бог определил грешному пределы мои. И определил их в бедной, горькой России— а я вот вдруг взял и умыкнул в чистую и сытенную Германию... Глупое бегство...»

Пословицы «за Россию» казались мне выстраданными и прямо-таки обо мне. И ещё думалось: «И как ясно то, что русская земля и впрямь под покровом Богородицы,— если меня так тянет туда, в эту голодную, нищую (был девяносто второй год), преданную, кровью праведников и святых залитую страну».

Тянуло не случайно. Тянуло, словно в храм Божий. А и впрямь вся Русь стоит на живом антимнии. И я заметил в Немецтине: эмиграцию легко переносили только те из нас, которые лишены были какой-то тайны. Тайны познания Мира Божьего, поиска его. И заметил я ещё: не было в них, в этих эмигрантах «двадцать третьей волны», какого-то органа от природы, органа явного и определённого, сущего и насущного для меня— как,

скажем, глаза, уши. Но внутри они обычно были проще и грубее, эти эмигранты, и устраивали жизнь поспешно, и устремлены были на идею-«фикшн»... (Бокал немецкого пива восхищал их, как яркое солнце поутру.)

...«На чужой сторонке рад своей воронушке»,— как это, пожалуй, непонятно им, даже смешно, скажи я этак вслух. Они рады были собирать огрызки, брошенные западными «звёздами», рады были сотворить из этих огрызков свой уголок фаворитов вроде угла «фредди-меркьюри», «элвиса» или «чиконе»... нечто наподобие ленинского уголка в немецкой первоклассной гостинице. (Так татуированные голые задницы, крашенные губы, похожие на... или, вернее, непохожие ни на что, привлекают этих малых «избранных» за границей...)

...Я вспомнил сегодня в рязанской деревне эти раскрашенные физиономии русских эмигрантов, с цветными петушиными гребнями, выражение их глаз, поведение, и понял, что было в этой моей тоске в девяносто втором что-то определённо похожее и на покаяние, и на исповедь одновременно. Нет, я не смог бы уехать совсем, как нельзя заставить причастника, честно подготовившегося, припавшего с благоговением к чаше-потиру,— нельзя заставить не принять причастие...

И вот я— я сам причастник бедной, осквернённой бесчинными бесами святой моей родины... Родины, по которой прошли, перешагивая и наступая на трупы расстрелянных, или— немцы, японцы, китайцы и латышские стрелки. И хасидские комиссары. Но другой Родины не будет у нас, кроме той, по которой топчутся сегодня их потомки, сжёгшие свои партбилеты прилюдно, куражась и фотографируясь, и тем обманувшие опять и эту землю, и народ её, эту землю, усталую мощами праведников.

Как странно: как легко, один за другим, уходят люди, те, которых хорошо знал. Скольких уже нет, они ушли в мир иной, драгоценные люди. И с каждым из них уходит как бы частица моего собственного существа. Они словно уносят по частице меня самого. И сколько теперь осталось меня самого в этом мире? А сколько было связано с каждым из них, из ушедших... Вот недавно ушёл Николай. Помню, как однажды в августе, ночью лунной, бабушка послала нас с Николаем, моим одноклассником, набрать «медовок»— яблочек для компота, дала два пустых ведра. Помню, как бросали мы их, каждое яблоко отыскивая ощупью, под луной, метко— бросали в гремящее ведро. Яблочки были так зрелые, что если смотреть сквозь некоторые на луну— семечки видны. Эти опадыши, налитые жёлтой спелостью— в мёд цветом, светились в траве как восковые, словно сами по себе фосфоресцировали изнутри. Проходя мимо бани через овраг с полными ведрами, увидели мы топящуюся баню и ярко в полной тьме светящееся,

небольшое, с ладонь, окошко. Прильнули. Там мылись, ополаскиваясь из тазов, наши сверстницы—Люда и Варя (обеих уж нет на этом свете). А тогда (нам было лет по двенадцать)—Боже мой, как затрепетало сердце от тайного созерцания их наивной наготы, их девичьих щёлочек, едва тронутых пушком, с красными отблесками тел в свете и полутьме керосиновой лампы под пузырярем... Их целомудренные, едва наметившиеся груди трепетали.

...А вкус тех собранных яблок был так неестественно сочен и сладок—так и растекался по губам и подбородку; сводило скулы от кислой сладости. Хотелось откусывать и откусывать. Прямо с семечками, с сердцевинкой. Мы откусывали от яблок и посматривали в баньку. Так и запомнило сердце: чёрный овраг с запахом топящейся летом печи, ведра яблок, девчонки, так и не увидевшие нас, страшные чёрные дубы под огромной, чёрной, бездонной пропастью неба—и великой восхитительной, сплошь в белых пятнах, луной.

...И всё никак не хочет примириться сердце с тем, что жизнь так безжалостна, а смерть для каждого—неизбежность... И всё чувствует сердце, что всё не так мимолетно... Всё не так просто... И не для ямы земляной всё пережито... И сколько радостных встреч впереди.

— Знаешь, что такое свобода и демократия? Это когда скупили или закрыли завод, послали тебя в... или на... А ты можешь идти куда хочешь.

— Да, но что при всём при этом кушать?

— А кушать просишь—опять на цепь, в ошейник... Милости просим...

Удивительное «качество» человека: с возрастом, как и с большим несчастьем,—хочется одиночества. Хочется быть одному. С возрастом—всё больше. К морю. В горы или в лес к костру. И чтоб никого—ни единой души. И когда это возможно, достижимо—обозреваешь горизонты духа. Сверху видишь бытие, слышишь самые «мысли» волн... Или созерцание собственной души под треск в костре белых поленьев, сжигаемых пламенем. В свете костра, раздвигающем темень и—тленье леса, и чувствуешь себя уже не так безродно, и безотрадно, и непоправимо несчастным.

Сам Бог настраивает человека на один-единственный тон—одиночества: каждый из нас с возрастом всё более сужает и сужает круг общий, в который всё чаще добавляются невзгоды и испытания... И в конце—каждый остаётся один, идёт по своей лыжне, сходит по своему склону. Очень остро чувствовали это святые схимники. Исихасты. Они не протестовали и не упирались, а шли навстречу великой и неисчерпаемой Воле. А чтобы не так было больно отрываться от этого

мира, отрываться уже насовсем, Бог старит нас, отнимает понемногу страсти и желания.

Так стоял и думал я, один над набережной над океаном в городе Владивостоке... Я спустился к воде, к волнам и окунул руку. Мокрая твёрдая галька обозначила грань океана: всё, дальше России нет.

Корабль-ресторан едва двигался под высоким, в полкилометра, отрогом побережья. В светлых столпах света над океаном, параллельно лежащих друг возле друга—корабль шёл с музыкой, в великом хаосе белых и жёлтых огней и колючих мачт,—точно вот-вот отвалил он от берега. Куда, зачем он идёт?... И подумалось: «А за тем же, за чем, в сущности, и я здесь: укрыться от ненастья и одиночества. Только, быть может, иным способом. Он вывозит людей, принуждённо веселящихся,—„вывозит“ их от самих себя. Они спасаются вряд ли более оригинальным способом, принуждённым весельем... С рестораном, выпивкой, плясками и криком». Скоро я вновь остался наедине с тишиной. Под звёздами и над океаном.

Эти тёмные, страшные мартовские рассветы над Москвой. Что-то в них необычайное, роковое, чужое и страшное, в этих рассветах, когда темно и глубоко синее небо там, вверху, вплоть до самого Престола, а здесь—мельтешат, шныряют огнями машины в утреннем городе,—и всё кажется милостыней—и связь судеб, и людские отношения. Всё милость Божья. И если посмотреть на мир, не забывая об этом, то всё—радость, всё становится мило—и любая мысль, и взгляд. Предлоги и предметики,—не по пустякам, а значительны, да и сам мир уже не кажется ни случайным, ни обманным. Нужно только помнить, помнить себя и назначение своё.

В небе—всё ещё неумолимо темно. И вот всё синее, и как-то совсем уже неуютно: жижее, строже и алей, светает... Смотришь вверх, в эту вечную стужу, в эту недостижимую высь,—и замерзает душа. Кажется, будто бы вот-вот, в это уже мгновение, случится что-то трагическое, непоправимое. Наверное, именно про такие мгновения сказал Иисус ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18). Есть в этом, в словах Его,—какая-то неотразимая правда, правда сверхвидения, видения духов, живущих вокруг нас, не видимых нам, нашим плотским очам, а лишь святым.

Но даже и такое грозное присутствие великой тайны, и «молнией спадшего»,—не страшит, когда вспоминаешь о вечной жизни души.

Март. Вторая неделя Великого поста.

Выставка картин, галерея известных старых западных голландских художников в Севастополе, в белом музее над морем. Очень старая живопись—

и вот удивительно и ясно, как заметно это: каждый персонаж обособлен. Не индивидуален, а именно—обособлен. У младенцев—лица взрослых, лица не детей, а мужиков. И от этого все, включая детей,—кажутся одиноки, как звезда среди звёзд. Странно и как-то мистически, на перспективу написаны эти картины. Тяжёлые своей тяжёлой позолотой рамки—они уже и трескаются. Трещинами, паутиной трещин покрыт и толстый масляный, грубый, словно мясной слой, грунт под ним.

Такова же, верно, плотная участь и душ человеческих после этого земного существования. Сеть трещин за паутиной порчи и подлинных лица действительного, а не телесного и изменённого, и оттого—как бы «зашоренного» бытия. А подлинного, иного—в духе—не видно, но и не миновать никому. Лишь «там», вне этой выставки этих картин,—свет и радость подлинной действительности. Непреходящей. Море и солнце. Ветер и простор...

Мёртвая телесность искусства, «искусса». Как это очевидно...

Откуда эта мода в прошлом на дебелых младенцев? Микеланджело писал уже не само дебелое тело, но—страсти. Во многом и многих. Быть может, художникам хотелось видеть, воплотить в тело детство, живущую и жаждущую плоть. Картины о сытости, которой не было в то время среди простолудинов, сытости, о которой мечталось. Найти её, эту радость «сытого чрева», хотя бы—вот, в картине. Тоже своего рода—модерн.

Глядя на эти их картины фламандцев и весь антураж, кажется, что это одно: художники и в зрелости своей были вечно голодны... Если не в пище, то в неутолимых страстях. Или—это намёк не на дебелого младенца, а на страстную и сытую глину Божью?.. Глину, из которой все мы сотворены в день шестой. И какая тоска за этой дебелостью, сытостью, какая острая тоска по чему-то высшему, горнему, по той доброте, что ли, любви человеческой и сочувствию. Которого так не хватает—и не хватило, надо полагать, и раньше, в средние века. Не хватает «материала» любви на всех, но рано или поздно эта нехватка открывается.

Нет материала подлинного, не мясного, духовного. Ходишь по залам и удивляешься: как были плотяны люди, таковы они и остались. И останутся ещё надолго. Едва ли не каждый—до смерти. И как подлинное открытие был для меня вход в православный храм, Покровский собор, здесь же, на Большой Морской, в храм, что напротив музея. Весь из белого инкерманского камня...

И какое величие бесстрастной русской иконы в полутьме!

Богато одетая, в перстнях поверх перчаток, с охранником в провожатых,—мещанка, верно, недавно

вскочившая верхом на золотого тельца, ходила по залу-экспозиции, увешанному картинами, делая вид, что рассматривает, а на деле—подкрадываясь незаметно—давила привспухший паркет и слушала, как он скрипит. Прислушиваясь, она исподволь разглядывала своё отражение в стёклах картин чёрного фона; считала тайно года жизни художников, применяя их к своей молодости, эффективности.

Я наблюдал за ней, изучал её (охранник показался мне неинтересен). Потом сиделка-смотритель заснула под её мерный шаг на скрипучем паркете—а больше никого и не было. И я подумал: а ведь это тоже—отношение, философия жизни по отношению к бытию, такое поведение... И очень большое число, девять десятых живущих на этом свете,—не живут вовсе, а просто скрипят паркетом и рассматривают себя в стёклах витрин—пусть и в стёклах-зеркала великих художников, но себя, свои отражения... А ещё они ходят на кухню и в клозет и ждут ночных ласк, скандалов и страстных соитий. Или она кого-то ждала, а этот «кто-то» не пришёл? И тут уже трагедия по-мопассановски безнадежная.

И холодная постель с холодным смертельно одиночеством... Повисшим дымком тонких дорогих сигарет и—равнодушными или настороженными расспросами мужа, которому, в сущности, нет до неё никакого дела.

Там же, в музее, в Севастополе на Большой Морской. Посетители:

— Хороший сервизик?

— Да. Приличный, приличный. В нашу бы гостиную...

— В особнячок?

Вышел на улицу, на избитое многими тысячами ног крыльцо музея, с таким чувством, будто вырвался из склепа. Мой грех: не могу заставить себя беззаветно любить людей. Почти бегом вниз, к морю. Вздохнул морем, забродившей уже осенней листвой, листьям парка, и, размышляя, поражался: как жалки потуги, труды самоотвержения одних людей для других—труды преподнести этот мир Божий в искусстве, музыке, литературе, себя, своё творчество. Отчего же, почему этот бесценный дар меньшинства большинству остаётся не оценённым, не принятым, даже и попросту не понятым, наконец? Ответ: «хромосома»?! Простейшее существование. Но ведь и сказано: «Не всех входящих в мир просвещает Свет». И так от рождения. Кроме того, девять десятых на этой земле бродят и трудятся единственно ради пропитания. И все их деяния, труды, порой даже и невероятные труды по выдвижению во власть, кропотливым отстройкам особнячков,—всё это вид одного и того же: добывание «подножного» корма. И—никуда от этого не деться.

Это — иная информация на хромосоме, на геноме. Даже если скоту вызолотить рога, навалить под копыта сервизов и картин фламандцев, даже если не выключать, на полной мощности проигрывать над пастбищами Баха, Шопена и Чайковского, всё остаётся по-прежнему, и от этого грустно. Так спокойно-грустно и одиноко на старой скамье в парке у моря...

А в центре Севастополя, из-за магазина, из-за жёлтой квасной бочки, вдруг вышел мне навстречу телёнок. Он шёл мне навстречу, глупо тряс ушами и ставил копытца вкось. И стало смешно, словно укорял меня Вышний: не осуждай, на себя посмотри...

Притчи Царя Соломона, глава 30: «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом; дабы, пресытившись, я не отрёкся [Тебя] и не сказал: „Кто Господь?“, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе».

И ещё, там же: «От трёх трясётся земля, четырёх она не может носить: раба, когда он делается царём; глупого, когда он досыта ест хлеб; позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Как это мудро и вечно свежо, при любых демократиях, диктатурах и режимах.

Два метода знаменитых романистов. У Бальзака: от частного случая — к общему, к обобщению, к великим идеям и мыслям. Весь Бальзак — великодушный опыт обобщать. У Льва Толстого — наоборот: от общего предположения или положения — к частному. Подобный «типический» пример — начало «Анны Карениной». Этот метод он вынес во многое, и особенно — для поздних вещей. Подобный приём — и в «Кавказском пленнике», и в «Хаджи-Мурате». Толстой мыслит и писал, чтобы не «угодить», а удивить, поразить обществу, «обличить», показать жизнь уважаемых сословий с самой глупой и позорной стороны... То, что позднее Шкловский обозвал «отстранённостью». На деле — у Толстого сплошь и рядом, за исключением, пожалуй, детских рассказов, идея стоит на нелюбви, даже ненависти к человеку, и это — поразительно... При громадном, ни с чем не сравнимом художественном таланте!

Есть в Евангелии важное место (Лк. 8:31–32), где говорится о том, как бесы, изгнанные Иисусом из бесноватого, просят Его, Иисуса, чтобы Он не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней. И «брошилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». Бесы — и те не хотят «домой», в бездну. Каково

же там? Отдают даже и бесы предпочтение пусть мучительной, но — деятельности здесь, на земле, в воздухе. Им — хоть в свиней — лучше, чем бытие в бездне (значит, и для них бытие там — не безматемно?). Избежать бездны — стоит постараться, и уж тем более — человеку. Как же стоит душе человеческой постараться, потрудиться, чтобы избежать того места, где скрежет зубовой, пепел и сера. Выходит, так?

Ехал через ночную Москву, мимо собора Василия Блаженного. И собор, и Кремль — совершенно пряничные, расписные. Собор Христа Спасителя в новых подсветках кажется гигантской сахарной головкой. Игрушечный Кремль с освещёнными стенами и тоже подсвеченными у стен, с высоко задранными водосточными трубами (почему-то обрезанными на два метра от земли), укороченными — та же нелепая задумка дизайнеров из «новейших»...

А Растрелли жил в России! Пушкин — памятник работы Опекушина — кажется совершенно алебастровым в ночи от освещения, тоже совершенно нелепого. Не хочется вспоминать, что стоит поэт на месте Страстного, спиной к нему, над погостом. Кто поставил его попить погосты Страстного? А престольная икона Страстного женского монастыря, разграбленного и снесённого большевиками, — жива и здравствует в иконостасе церквишки на Сивцевом Вражке, справа от алтарных врат... Так весь русский тысячелетний характер, о котором сказано: «И один в поле воин, коли ладно скроен», — превратили надмением своим в совершенно декоративный, кукольный характер — ох уж эти «мастера-имиджмейкеры».

Памятник Пушкину, будь он без подсветок, казался бы ещё темней, укоризненной, достоверней с той безутешной грустью о России, о Москве, которая так трогала его, Пушкина, при жизни.

Крутятся и мягко постреливают сегодня вокруг него светящиеся пьезоэкраны, с бесконечной рекламой, раззеркаленной потоком чёрных окон машин. И всё это дико, вспыхивает самым дерзким и вызывающим образом, ярко, с неоновым и компьютерным управлением, с лучами прожекторов, направленными куда-то вверх, к самому подножью сатаны, в безвоздушное холодное пространство. «Нокиа», «Филипс» с «Макдоналдсом» и ещё черт его знает что и с чем вокруг... И он, прославленный русский Пушкин, кажется сегодня таким униженным и опозоренным нашим проклятым веком и таким одиноким, каким не был и при жизни, даже и среди всех этих Нессельроде и Бенкендорфов. И какой «индивидуал», какой атом читает его теперь? — разве вот, проезжая под хмельком, любуется у Кремля на пряничные избушки. Либерасты-евроцентристы, цивилизационные, телевизионные авторитеты... Это уже

не наш Пушкин—и мы не его? Да и Кремль, и площади, и собор, и страна—наши ли? Не украдены ли они у нас? Так и величайшие, духовные вещи могут быть «переработаны» в продукты цивилизации...

И стоит, всё стоит—и мавзолей Бланк-Ульянову Ленину, борцу с «великорусским шовинизмом»,—и стоит на том месте, которое приметил Николай Второй—мученику, спасителю России и свидетелю во Христе патриарху Гермогену.

Мерзость запустения... Она бывает и сияющей... Внешне.

Откуда это, сон или явь?—откуда это представление, свидетельство мне о том, будто бы перед плотским рождением в этот мир, перед вхождением в «ризы кожаные»,—видел я яркий сияющий свет божественной Любви—Солнца радости и мира, и свет этот—наставлял и ободрял душу? И душа моя жаждала воплотиться и молила Солнце-Любовь о воплощении. И ясно чувствовала, понимала, что это воплощение в тело и странствия на земле—необходимо ей для спасения и прощения. Воплощение же во спасение не всем даётся, но его надо вымолить. Быть может, всё это—некая «прапамять»? И эта память осталась не замутнённой по случаю? И теперь, спустя полвека от моего рождения, и мало того—с каждым годом, что-то опять приоткрывается мне, «припоминается». Ещё и ещё, и открывается.

Это сейчас, сегодня я готов догадываться, напряжённо додумывать все те знаки, что были явлены мне загодя, а тогда ей, душе, всё и так ясно было и понятно, до самого донышка, и она готова была на любые муки с радостью в предстоящей жизни, лишь бы только закрепиться в этой жизни во плоти, вытерпеть и снести все опасности и страдания всей долгой предстоящей жизни в теле,—и всё для того, чтобы, вытерпев, быть с этим духовным Светом, заслужить близость и родство с Ним.

И условия от Света, условия на непростую жизнь, все,—она принимала легко и радостно, и соглашалась на всё, и она, душа моя человеческая, не думала тогда и не желала думать о тех трудах, боли, болезнях и бедах, что непременно постигнут её, воплощённую на земле по её же перед этим Светом просьбе. Заранее соглашалась она на самый тяжкий путь крестный, потому что знала, что если положишь тело по Божьему промыслу—то лишь тогда обретёшь тот милейший покой и блаженство, за мгновение которого миллион лет и миллион мук на земле—ничто.

Солнце-Любовь «оговаривает» заранее—«словом-мыслью»—всё, что встретит душа. Спрос был и со всего существа души моей, представшей перед Ним: согласна ли она, душа с условиями воплощения?... И со слезами восторга и благодарности

за дарованную возможность послужить Ему душа соглашалась, что да, да, согласна, конечно, согласна... Согласна на всё... И тогда душе человеческой открывался доступ в этот мир земной—прямо от Него, подлинного хозяина и Светила-Солнца, и Правды. «Но как, как же я попаду туда, на землю? Я не знаю дороги. Я не знаю опыта: как войти?..»—«Ты получишь ангела-хранителя, следуй ему... Следуй ему всё земное твоё поприще...»

И вот—первое мгновение—душа, уже войдя в этот мир,—ещё носит с собой опыт этого земного «до-рождения». Душа сердечно всё видит. Видит сверхчувственным зрением, и с ангелом, приведшим её в этот мир,—разговаривает. Ангел же с ней из мира сверхтелесного общается ежемгновенно. И собеседование это слышно душе от самого крещения души. И я, ребёнком, кричал от боли рождения, ещё зная и помня отчётливо это своё «до-рождение», разговор со Светом, и то, что это и есть главное условие: то, что если я вытерплю эту земную боль до самого конца, до смерти телесной,—я возвращусь к Богу-Солнцу. К Нему. И тогда только и наступит то подлинное рождение в жизнь, тот полный Свет, в котором только и можно найти Успокоение и Радость. Стать частью Его и обрести то великое счастье, которому тщетно искать замену на брэнной земле. Земле труда и испытаний...

А условие этой жизни одно: не жалеть ни души, ни тела—нимало, и—умереть для пользы ближнего...

Так легко и ясно это «там», перед Светом при Боге, и так тяжело, неудобноздесь, невыполнимо кажется теперь, когда воплощён в тесном, телесном и напряжённом мире. Плотский, испытанный и тяжкий, отяжелел. Не исполнил. Порой плоть заставляет полностью забыть и то обетование, что дано было душе. И так благодатно знать и вспоминать всё, что было. Помню и знаю: «Имя твоё есть в книге жизни... Трудись и не ропщи...»

Всё помню!

Ходил с больным отцом (еле ноги передвигает после инсульта) на прогулку. Он намеренно тепло оделся, зябнет даже в эту последнюю жару бабьего лета. Балахоном на нём гороховое пальто, нелепого уже для нашего времени покроя, с раскрылёнными полами. И весь он какой-то усохший, с обвислыми небритыми щеками, поминутно закуривает, чтобы скрыть своё бессилие и волнение... Нервы его натянуты, а сам—жалкий, немощный против всего этого пиршества и буйства красок уходящей осени, красоты роскошно засыпающей жизни, природы. Видно как-то страшно и безвозвратно: он сам уже вступал в зиму...

Увядающие рябины, с листьями, сквозными от солнца,—похожие на виноградные против солнца

лозы, светлые гроздья; эти берёзы, великолепные в своём волшебном увяданье. Смотрю, любуюсь до ломоты в висках. А отец... он еле-еле шаркал обочь. Как короток, неверен и мал век человеческий. Как беззащитны люди. Все мы сироты, и ещё больше — те, которые живы и бодры и, как бы в насмешку, не ведают скорбного своего будущего. И всё в страданье, в этом шатанье ветвей, в прощальном блитанье солнца.

И вот всё ходила, вилась мимо красотка-фотограф, фотографировала клёны на дорогой, с длинным объективом, цифровик, — их скоротечное пламя, дымящуюся прекрасную опадь. Меняла позиции, двигала нагло аппетитными бёдрами зянутыми в джинсы. Сама — какого-то мужиковатого, ловко-спортивного вида. Ребёнок её — физически недоразвитый акселерат, сосущий тайком импортные конфетки, — еле успевал за ней семенить, то и дело отбрасывал яркие фантики. А я видел большей частью только её, думал о ней: «Конечно же, она, верно, разведена, одиночка, хоть всё ещё привлекательна и даёт понять, что знает себе цену. У неё какой-нибудь содержатель-менеджер, по-русски — приказчик. И такой относительно благоприятной жизни ей ещё года три-четыре. А потом...»

Как ярко помню этот день: на солнцепёках греются коты и кошки. Отец даже и на ходу — никак не может согреться. Провезли детей в колясках мамы — дети дородные, крупные, как нахохленные кукушата, — «уценённые дети». «Уценённые», потому что ценны только для родителей, и то — тем лишь только, что вложили в них частицу себя. Родители — в этих детей. И вот эти дети безразличны, странны, разомлели, беспечны и не рады дару жизни — осени. Вот она — и в детях — та же любовь к себе, та же сила бытия, которая умрёт непременно, несмотря ни на что, умрёт, мучаясь, как и всё умирающее, и как это неприменимо, несбыточно кажется именно по отношению к детям... От страшной догадки — «что же „там“, за порогом» ещё... И — «для чего они жили?»

...Отец совсем-совсем плох. У меня замирает сердце, глядя на него. Внутренне убеждаю себя держать душу в узде, но и творчество не успокаивает, просто отвлекает. Крутится-вертится колесо Иксиона, а надо терпеть. Иначе нельзя: раскиснешь, пропадёшь.

И разговариваем возможно меньше, бережём силы. Отец, тот и вовсе давно молчит... А я, я сам — отчего так ужасает меня эта прекрасная осень, эти детки, эта двигающая бёдрами женщина с фотоаппаратом? Для чего всё это медленно-прекрасно и вяло текущее время? Ужасает. И так ужасает впервые.

Полустанок под Москвой. Спускаюсь вниз, под уклон, к полотну, почти бегу по крутизне вниз — тащит вниз, словно магнитом, дух захватывает,

как в детстве, даже весело. Вдруг тут же, на платформе, — пятеро избивают одного, окровавленного. Бьют страшно, ногами. (Верно, только что пили вместе.) Окровавлен весь лоб лежащего, он скрючился, сжался. Потом один из них (лицо почему-то тоже в крови) быстро встал на корточки и быстро-быстро, по-крысиному, стал обыскивать, ощупывать лежащего. Что-то вытащил, прыгнул с платформы вниз на рельсы — и побежал вдогон проходящему поезду. И тогда все, опытно, кинулись в разбег в разные стороны. Двое — в одну сторону, двое — в другую. Избитый, верно, был ранен ножом в живот. Лежал на боку, очень страдал и не разгибался. Было в этом избиении, в этом ограблении и воровстве что-то такое ветхозаветное, нелепое, страшное под небом, вопиющее к небу об отмщении. И я как-то воочию поразился: как упорен, и страшен, и укоренён во зле человек. Он рвёт самого себя, не понимая, что все мы — единое тело и единый дух. Человек истязает, грабит и убивает. Всю историю своего бытия. А как, вероятно, было бы страшно, нелепо увидеть войну, особенно — рукопашную штыковую атаку... Людское сумасшествие. Трагедия бытия неизбывная. И так ясно стало, что Христос приходил в мир и погиб — и не мог не прийти и не погибнуть. Иначе — как и что объяснишь этим зверям в людском обличье?..

Холод и осень. В электричке грязно. Сел по-глупому, сел у не закрывающегося до конца окна, и всю дорогу хлётко било ветром навстречу, и эти мотание и стук до самой станции Осеевской, с перерывом дёрганья и скрежета, длились полтора часа. Время от времени в ту или другую сторону пробегал дежурный с трёхгранником-ключом по вагонам. А я всё читал, или, вернее, пытался читать дневники Ивана Бунина... И поразительное встречал у него: «Читал о Серафиме Саровском. Дождь». Или: «1.1.43 г. Пятница. Господи, спаси и помоги»... — и так везде расписано по дневникам. А дневники, конечно же, написаны задним числом, по памяти. И ещё — художественным чутьём — и это ясно, и чувствуется.

Прочитав эпизоды дневников Бунина, думал, вспоминал утверждение, что Христос был распят на «черепа Адама» — лобном месте, на камне. И этот камень и стал камнем преткновения. Как много, «тьмы и тьмы» народу разбили за эту идею, сверхидею свои головы и сердца. Особенно почему-то русские.

А камень тот «лобный», который и всемогущий Бог без нашей помощи не понесёт, не сможет понести, и есть — человек. Человек одержимый, перенявший дьявольскую занозу, прививку смерти: стать равным Богу. Потому — и этот неприкрыто-дьявольский протест в утверждении, что человек — он и есть мера всех вещей. И повод протеста Богу

стали называть разными вычурными словами: «радио», «гуманизация», «либерализм»... И к чему это привело? Как ясно выражено, как трагически прослеживается всё это по переосмыслению «Дневников» И. А. Бунина. Бог у него, орловского дворянина, родственника Жуковским,— появляется только к сороковым годам, когда ему самому— за семьдесят! Вот какова была Русь, и притом— и лучшие её представители— писатели...

И всё мотало меня в электричке, воняющей горелым табаком; погасал свет. Вспоминался больной отец... И эти ужасные нервные дни, безблагодатное состояние. Как давно, и серьёзно, и, видимо, непоправимо болен отец, и как он переживает немощь свою, кричит. Страшно и часто курит поминутно, взхлёб. И ничего не сделаешь, выход один: постоянно молчать. Поразительно вдруг открылось, что ничего хорошего «за глаза» люди, даже и самые близкие, не говорят друг о друге. «И враги человеку ближние его...»— говорит Евангелие.

Электричка неслась среди ветра и чёрных огромных полей, и так вдруг подлинно открылось, что я в этом мире никому, в сущности, не нужен, как не нужен даже и мне великолепный Иван Бунин с его блистательными «Дневниками», написанными неповторимым великим языком.

И я бросил книгу за шумящее, бегущее огнями окно, в мокрый осенний дождь, и едва не разрыдался.

Афиша «Фотография». Две двери. Одна из них внезапно открылась, и я увидел, что там изготавливают медальоны. На памятники. Ретуширует их молодой, держа на коленях и сидя. С фотографий смотрят на него разные люди, смотрят по-живому грустно. Он ретуширует. Потом устраивает их лица на камне. Он смотрит на них. Они на него, «с того уже света». Из-за рубежа. А рубеж-то от них до него— полметра, рукой подать.

Рубеж, самый дальний из дальних, метафизический... «Послушайте, ещё меня любите за то, что я умру»,— трогательно и страшно-правдиво писала Марина Цветаева. Но кому? Людям. В сущности, не изменяющимся людям, во множестве своём механистически-мёртвым, как эти ретуши и плоские раскраски на памятниках-камнях...

Как страшно пытаться растрогать на любовь и сочувствие умных манекенов. Как страшно живому жить среди пластиковых и нейлоновых сердец. Её так никто и не услышал. И её жертва сыну Муру была им, Сыном, одобрена...

Для чего же тогда и памятники, и фотографии? Какая-то условность, трагикомическая в своей архаике...

Москва спешащая. Старуха на улице в городе, нагибаясь, что-то отыскивает, поднимает в лиственной

опади. Присмотрелся: ягоды боярышника. Она складывает их в сумку и, напихав её, пухлую, красную, точно от крови, и тяжёлую, будто с картечью,— из сумки всё пихает и пихает двумя руками ягоды в рот. Рот узкий, старушечий, сморщенный, похожий на сфинктер.

Мимо едут машины, дружно загудели при попытке её перейти дорогу. Старуха— в обносках, «обтёрхана», в рванье. Всеми забыта. В глазах— безнадёжность и покорность судьбе. А рядом, через улицу,— многоэтажное здание, типажом— «под немцев», под современные новостройки Европы, с блестящим бронзой стеклом окон, с изразцовой, «под Запад» же, отделкой толстых чугунных наличников. На запоре наличников ослепительно: «Банк „Возрождение“... Ах, сукины дети— радетели, «возродители», опустившие богатейшую Русь— банками, фьючерсами, закладными, с брокерскими продажами и перепродажами, ваучерными аукционами, залоговыми аукционами притащившие её к «кризису»... И в который уже раз. И ходят старухи и старики, роются в помойках, плющат ногой и собирают пивные банки, подъедают боярышник, как птицы, остающиеся на зимовье в стране, в которой не выжить. И вдруг стало понятно, совершенно ясно, что поднимет и опять тряхнёт Россию снова, тряхнёт снова, и, быть может, тряхнёт крепче семнадцатого года. Не всё русским старухам собирать боярышник вдоль ослепительных фасадов чиновничьих контор, не всё нам терпеть, глядя, как унижают наших матерей, сестёр, молиться да пукать с сухомятки в импортные портки-джинсы «от китайца», лёжа ничком от тоски в тусклой и выматывающей безработице.

Москва. Всё ещё относительно благополучна. Относительно прошлых бед...

Сатанизм центричен, и центр его— в сердцевинах городов, в самом скоплении людей. Сатана любит людей, любит их общество, любит города, афиши, футбол с сотнями фанатов футбола и так далее. Сатана полюбил общества людей ещё со времён Адама и Евы— ведь и это было «общество», с ним, с сатаной согласившееся,— они были втроём, когда Бог уже искал их, потеряв свои создания из виду— во грехе их.

Именно поэтому Бог противодействует сатане, отпускает Духа Святого на скопления, «где двое или трое собраны во имя Моё». Единственно (и это по необходимости, в противовес сатане): Бог сам более всего силён именно в одиночестве; как это хорошо сказано: «Внутри вас есть». Оттого и монах в келье один. И анахорет Иоанн Мосх, и Мария Египетская, и Авва Доротея...

Москва во множестве неисчислимом своих людей— ушла от Бога. В церквях, я заметил, поют «Символ Веры»— не слушая ближнего своего, поют для себя.

Нигде так не одинок человек, как в крупных городах, в Москве. Одиночество—это не когда ты один, а когда хочешь, чтобы слышали,—и не слышат. Почему же не слышат? Сагана не даёт. Вмешивается. Противоречит. Отталкивает.

Я стучался с девятнадцати лет во все московские художественные журналы. Окончил Литинститут, публиковался в Германии, по проторённой дороге «через Запад»,—едва-едва добился цели: и опубликовали везде, во всех журналах, кроме духовно близкого, от Старого Арбата, журнала «Москва»... Напечатали, но была уже, по сути, потеряна вера в то, что свои, русские, и вообще—читают рукописи «из потока». Совсем не то народ малый, внимательный. И прочитают, и пообещают. Часто даже и сдержат слово, но на совсем ином уровне, на уровне ничтожном, если ты «не их», не принадлежишь им по крови.

Вот он, «другой берег». И—да, там, читают, и печатают, и пробуют поддержать отношения. И мягко, ненавязчиво начинают советовать, как писать... Пока ненавязчиво. И как это странно устроено наше общество, что русскому в нём нет места. Если выплывешь на другой берег—и руку подадут, и просушат одежды. По эту, русскую, сторону—никому не нужен. Сколько видел я подтверждения этому. Едва ли не на грамм дара, а его уже привечают, и стипендию оформят, и отзвонят везде, и ждут его. Почему? Он свой. По крови, и никак иначе. «Русопятого» же—никто не поддержит. Да что там! На годовщине Гоголя чувствуют... Жванецкого. И какой праздник! Сколько жара и холода, прекрасных слов и света рампы, аплодисментов. Граждане, ну послушайте внимательно, что читает Жванецкий на юбилее Гоголя. Ведь это не эстетично. Ведь это издевательски-цинично, как в бараке на зоне. И шутки таковы же, как шутила бы «шестёрка» перед нарами «пахана», тот же уровень.

А вспомнить, сколько раз и когда праздновали годовщины жизни и смерти русских писателей, поэтов, даже великих (по сравнению с пришлым народцем, притащившим сюда своё «искусство»: безверие и хохму)!

И вот сегодня, грустным Великим постом, я думаю: а сколько же надо стучаться к Богу, чтобы апостол открыл двери благодати? «До самых до смерти, Марковна...» А ведь и вера тоже, и так бывает, что—убывает, убывает вера в свой народ, и в сам тайный, сакральный смысл бытия, и в предназначение русского...

Всё убывает с годами.

Труд и творчество, те интерес и целеустремлённость, с которыми входит в эту жизнь новорождённый ребёнок,—несопоставимы по усилиям и напряжению ни с каким творчеством повзрослевшего, уже обжёгшегося об этот мир. Несопоставим

ни с каким искусством и творчеством взрослой жизни. Все, даже и независимые, или мнящие себя таковыми, творцы,—ждут утешения в творчестве и радости коротких вспышек озарения; кто-то—признания, кто-то—забыться, уйти, остановить катящийся вниз камень Сизифа. А всего этого вправе ждать от жизни—только новорождённый, осваивающий мир вокруг себя ребёнок... Он вправе надеяться. Легко жить. И что же получает он, взрослый творец, за свои ожидания? Получает кровавый труд, затем опыт разочарования и тяжесть камня Сизифа—и никакого признания. Но тот труд, и кровавые раны, и синяки-шишки, с которым и мы начинаем жить, не обещает ли он и сам по себе и благодать, и прощение?

...И вот он, «кризис», да ещё мировой. И будто бы необходимо было неким силам встраивать Россию в этот мировой порядок, тот, что так подвержен всякого рода «кризисам». Мало было России «приватизации», которая сделала из ста процентов хозяев своей страны—девяносто девять процентов работягами и рабами. То есть почти все бывшие «хозяева», освобождённые революцией семнадцатого года, вновь стали батраками, да ещё и потеряв при этом и права на страну, и все свои накопления от прежней трудовой жизни (в противовес банкирам, знавшим о спланированной девальвации, курсах рубля и «цене» ваучера). Но и этого мало. Кризис обещает новый передел, но теперь уже между банкирами и олигархами.

Итак. Пирамида перевернулась и рухнула, раздавив за эти семнадцать лет около тридцати миллионов русского населения, умершего от недоедания, отсутствия медицинской помощи, волнений, отъёма денежных средств, скопленных за всю жизнь, отравлений водкой от палаточников. И прочее, и прочее... Сколько-то уцелеет теперь? Ближайшую перепись населения, вероятнее всего, отменят. В самом деле, кому сегодня выгодно знать правду? Есть данные, что в России уже сегодня не более шестидесяти миллионов человек русских...

Но то, что с Россией обходятся теперь люто,—стало ясно давно. Ещё на праздновании шестидесятилетия на параде в честь Победы в Великой войне, Парад Победы в честь шестидесятилетия окончания Великой Отечественной войны—победы, которую силятся перевернуть в кромешное (уже с 2005 года), даже и с репарациями, поражение страны-лилипуты, страны-флюгера,—отчётливо объявили. По многим статьям.

Многие главы союзных республик отказались приехать на празднование юбилея на Красную площадь в Москву. Они считают себя обиженными. Они будто бы унижены разграбленной теперь и обескровленной Россией. Они хотели бы ещё большего от России. Денежных компенсаций, как тянули они из того остатка Союза, который-де

и был причиной их нынешних бедствий,— и требуют: выплат, компенсаций, возмещения всяческих ущербов и прочее... Известно, «пешего ворона и галки дерут»...

Известно и то, что и Первой, и Второй мировым войнам предшествовали «мировые» кризисы. Верно, России многие, очень многие рады бы числить в должниках и всё ещё числят. Иначе отчего бы, откуда, с самого «верха» — Белого дома Америки, сообщать на весь мир, что Россия незаслуженно владеет Сибирью и богатства её «непропорциональны» со странами и территориями «другого мира»?..

И при этом — какие амбиции, какая смелость и тяга к справедливости (как они её себе представляют)!

И как же они её, Россию, видят? А так: подмятой под себя, насилуемой, как насильовали они её девьянство лет назад, в семнадцатом году, вывозя иконы, пушнину, золото, хлеб... всё.

Концессии, составленные с Западом Троцким и разорванные Сталиным, поработают опять, и с небывалым напряжением! Вот вам и Победа.

Сын-подросток у святого источника, бьющего из-под глубокого угора. Станция Клязьма и посёлок вдоль одноимённой реки. Крутизна к реке почти отвесная.

Шёл вдоль реки, по-над этой крутизной. А внизу — хрустальной свежести источник, освещённый в честь иконы Матери Божией Гребневской. У источника сидит малыш лет девяти. Я сразу узнал сына. И так задумчиво сидел он, глядя на огнистые струи светлого родника, сидел долго. Припав к струе, он наполнил пятилитровую банку из святого источника, играл со струей, рассматривал. И я долго смотрел на него с высоты. Он наполнил банку, вторую, попил и присел.

О чём может так напряжённо думать или мечтать малыш девяти лет? И вот — так остро, до боли остро почувствовал я, что все мы на этой земле изгнанники, и я, и он, и вон там вдаль — те, другие... И все мы с рождения чувствуем это так напряжённо-остро, с такой тоской, что не выразить словами, и, значит, тоскуем об утерянном в прошлом ином бытии, лучшем, чистом... Бытии с кем? С Богом? И вот теперь до боли мы ощущаем своё сиротство и тоску по какой-то иной, истинной родине, которая кажется невозвратимой, кажется существующей далеко, где-то в иных мирах, тех мирах, которые так отличны от этих, так несравнимы и несопоставимы, что кажутся эти места — противоположными, даже и отдалённо не напоминающими те иные пределы, которых мы были некогда, вероятно, достойны и с которыми ни в какое сравнение не входит эта бледная, грешная, странная земля...

...Корабельные сосны косо и неприятно нависали над крутизной обрыва, канадские срезанные

клёны в солнечном сочном восходе, казалось, безмолвно слушали небо; иные — словно молились, стоя на коленях вокруг моего сына и источника. Иные — жалобно выставив дупла своих сучков — угрюмо показывали их мне, эти чёрные дыры — следы ежегодной обрезки, — как воины показывали бы свои раны. «И этим деревьям — и то не благо здесь, на земле», — так ясно легло на мою душу, словно кто-то вслух сказал мне эти слова, даже и не называя их, а так, одной мыслью...

Я окликнул сына. Он весело и легко побежал ко мне в горку, торопливо прыгая и выбирая, куда ступить... Боже мой! И эта радость встречи с сыном, не омрачённая на этой неуютной, строгой и равнодушной ко всему земле, — на этой холодной и пустой планете, — эта радость встречи показалась мне так дорога, что я, пожалуй, не отдал бы её за все богатства мира.

И всё думалось, когда мы шли вместе домой и несли воду с источника: «Господи, а где же души наши? Ведь они — с Тобой и у Тебя. И какова будет встреча наша с Тобой, ведь все мы — лишь печальники и лишь горчинки по Тебе. Хоть и сами так часто не осознаем этого. Мы все дети...»

По-сумасшедшему прекрасное небо всё лето N-ского года. Что-то грозное, предупреждающее в этой красоте и постоянном, при ветре, движении туч и облаков. Белоснежные на грозном жёлто-зелёном фоне, они — постоянно бегущие, восстающие и вновь волшебным возникающие с самыми причудливыми очертаниями, меняющиеся в столпах света и солнца, рядом с чернильными — дымного индиго. И вот они идут-движутся и не движутся: те, что вверху надо мной, — быстрее, те, что вдаль, — медленнее, и от этой их медлительности кажется, что — текут они в другую сторону. Так получается, что облака и тучи кружат и кружат. Неделью и две... И всё это время — красный, пылающий, грозный закат... Потом — опять красный, палящий, индиго — жёлтый восход. И над всей этой пышной красотой — красный уголь солнца.

Сказано в Писании, что когда смотрите на красное солнце, говорите: завтра будет холодно... И как истинно-страшно это: «...Малoverы... Знамения солнца умеете понимать, а знамения Духа — нет...»

Работаю, пишу теперь мало, исключительно для себя. Где-то в письмах Алексея Толстого сказано, что кто же станет писать на необитаемом острове, если будет знать доподлинно, что никто и никогда не прочтает его рукописей... Никто. Сумасшедший. Вот я такой сумасшедший и есть. При СССР, сетуя на цензуру, «диссиденты» жаловались, что работать над рукописями можно только на перспективу, писали в стол. Теперь нет смысла и в стол писать. Мало у кого из пишущих не детективы и не фэнтези с «попаданцами» в иные

миры и иные измерения, мало у кого из честно пишущих и не прогибающихся под нынешнего невзыскательного читателя есть перспективы напечатать книгу. Если он не богат, а богатых, «с полной мощной», писателей я не встречал. Зато пышным, махровым букетом-веником расцветает бульварщина, детективы секретарш и любовниц. Беда в том, что девять десятых из читающих не способны отличить художественную литературу от подделок. И это не их вина. Вкус начитывается десятилетиями. Даже и образование не гарантирует «вкус». Даже филологическое.

Недавно чудом открыли дневники Иоанна Кронштадтского. Дневники эти писаны им тоже «для себя». И писаны так: предложение на немецком, на английском. Потом — по-латыни. И так — на пяти языках. Святые не хотели, чтобы современники их прочли. Они писали для себя, для своей души, вникая, «внутри — имая», в себя, ибо «внутри вас есть царствие Божье». Меня же томит неслышанность. Почему? Потому ли, что я не святой? Потому ли, что я так и не отыскал это Царство внутри себя, и оттого эта одинокость и надежда, пусть и слабая, быть услышанным?

...Не одиночество, а вот именно — одинокость...

Дни нашей жизни. Они похожи на дрящееся похмелье. И как похмельный ищет вина, чтобы опять очароваться нелепыми мыслями и видениями — отравить себя, свою душу, так и мы, живущие, жаждем жить. Мы ждём всё новых и новых дней, которые будто бы принесут нам новые впечатления и события, заставят забыть прошлое — освободят, откроют новое. Но одновременно сознаём, что и события, и покупки, все эти поиски праздника жизни, смена действий — всё это самообман и ничего кардинально непохожего на предыдущее — нет и быть не может.

Похмелье жизнью не отдалить и не оставить. Каждый жаждет жить и иметь. Но у каждого: у одного — раньше, у другого — позже, — наступает отравление. Навсегда. Навечно. И если взглянуть бегло, то и внешне кажется: всем, кому за сорок, — все, даже и непьющие, кажутся с похмелья. Вялая кожа, их потухшие глаза. Неизлечимо. Их похмелье — к концу, а они всё ещё живут для внешнего человека, внутренний же забыт и измучен. А возят этого «внутреннего человека» — единственно только и предназначенного для царства Божия — прокатывают жизнь на шикарных машинах, кормят в дорогих ресторанах, кутают в собольи шубки, чем бы себя порадовать, но радость их недолга... Часто так и до самой смерти не подозревая, что насытить, согреть, напитать и обрадовать человека внутреннего можно лишь совершенно иной пищей, бытием в идеальном мире, но он им неведом.

И спохватываются поздно. Чаще — и вовсе не спохватываются.

«Кто внушил тебе, что жизнь всякого человека — такая драгоценность, „подарок“ от Бога?» — как-то с сомнением и иронией услышал я вопрос своей совести, с потаённым сарказмом, — как бы спрашивал меня некто.

«Играй, — говорили древние и Эпиктет, — а когда пройдёт интерес, можешь уйти. Дверь открыта, никто не держит...» И вот я разговариваю с одним, вторым, третьим своим попутчиком — и ни у кого не нахожу того подспудного, болезненно-нервного ощущения зрячности этой жизни, бесцельности уходящего момента — того самого ощущения, что так присуще мне. Не нахожу и отдалённо того, чем мучаю себя я сам.

«Глупости, — опять словно услышал я, — никто никого не держит. Дверь открыта...»

Утро. Крепкий вотяк с красным лицом прогуливает возле дома доberman. И вот — поразительно пустые разговоры его со мной: о кошке, о работе в горячем цехе, о его, вотяка, перевязанной руке, которая заболела в самый неподходящий момент и которую, быть может, надо в гипс, а уж на рентген — точно; и опять — о еде, о ценниках на еду, — и всё это бесконечно, и никак не уйдёшь. И вот приходится кивать, подыгрывать, выслушивать «в глубину» существо вотяка, да и не его одного. И ведь девять десятых живущих рядом со мной — именно так, на таком уровне, живут всегда, до самой могилы.

Два часа он гулял с собачкой — и никаких угрызений совести, что транжирит жизнь, Богом данную. Отчего же у меня так до болезненности остро это ощущение — пустой траты бытия, мне отпущенного, за пустоту которого придётся отвечать? Словно во мне заложено что-то выполнить, и это мучит. А время идёт. Или это просто гордыня? Вид гордыни...

Как найти покорность истинную, как понять своё, поставить парус и плыть?

«Положись на волю Божью, и дела твои свершатся в срок», — а это откуда? Нет, это уже не «некто». К этому стоит прислушаться.

Случайно включил и просмотрел небольшой репортаж американцев о большой женщине, которую лечили и оперировали врачи-хирурги, лазерными скальпелями исправляя врождённый её недуг — порок головного мозга. Они были вынуждены на несколько часов отделить её голову от тела, искусственно питая и мозг, и сердце. Не знаю, можно ли верить этому, как высадке американцев на Луне. Но дело даже не в этом, а вот в чём: Джойс писал своего «Улисса» — почти слепым, Кафка — был нервнобольным, и не только нервно, Мопассан в конце жизни превратился из красавца-гребца в сумасшедшее животное. Он не выдерживал даже дневного света. А Акутагава Рюноске, а Марсель Пруст... Но всех их объединяет одно, а именно то, что когда они писали — они были счастливы. Дело

в том, что счастье, скорее всего, по сути заурядно, вяло, как вода в болоте, и поэтому многие, прожив так,—так и не поняли, что они жили счастливо. А ведь это истина, и далеко не всем дано в этой жизни насладиться безмятежным счастьем обывателя, и ещё того меньше—счастьем творца. А главное—понять, осознать то, что прожили—и было оно, счастье. (Сытый боров, лежащий в грязной луже, тоже по-своему счастлив.)

Так здоровый человек смотрит на муки оперируемого—и не может быть осенён сознанием счастья хотя бы своего собственного здоровья. А что его волнует в это время? Возможность крупного ценового падения его акций на бирже? Ревность? И прочее, и прочее... А где же счастье? А счастья нет и не было.

Самое высокое счастье, доступное здесь, на земле,—здоровье, творчество и жизнь в духе. «Тело не более ли одежды, а душа—не более ли мира?»

Женщина, прооперированная так сложно, когда очнётся, будет ли счастлива?

Два друга, встретившись:

—Я слышал, что ты женился?

—Женился. Как на льду обломился.

Первый вздохнул:

—Это да... Один женился—с головой пропал, другой женился—свет увидал. Знаешь армянскую поговорку: «Жена может создать дом, да такой, что и шайтан не создаст. И разрушить такой дом, что и шайтан не разрушит...»

Расходились они, прощаясь, тоже в глубоком раздумье.

Мука да вода. А взболтал, посолил—вот уже и хлеб. И есть в этом хлебе нечто от самого Бога. Плотяное, созданное, сотворённое в милость человеку... Тело человеческое—из глины с водой, а тело Христово—хлеб и вино преосуществлённые.

«Я—хлеб жизни» и «источник жизни». Кровь—вино от щедрой лозы. Так и отдельное: муж да жена—есть только тогда одно, единое и могут назваться людьми, когда в течение жизни взболтаются, смешаются, взойдут от малой закваски, как вода и мука, как вода и глина,—когда переживут, перетерпят многое вместе, станут не просто водой да мукой, но тестом уже. Не глиной (прахом), но телом человеческим, сотворённым.

И питание этого тела человеческого, то, что подерживает в нём жизнь физическую,—есть само проявление любви к нему, к человеку. Питание, вос-питание—есть уже и сама любовь. Питающая тело и душу во всех отношениях.

Едешь по России—и кажется, что вся Россия—на старухах, на бабах стоит. И держится она последний свой срок. Проедешь глубинкой—диву даёшься, как деградировало, упало всё, не в подъём.

Сегодня март, двадцать третий день. Совершенно сумасшедший, мокрый, мартовский снег, тяжёлый и сырой. Острый, неумный, сыпет и сыпет. Валил огромными хлопьями, словно охапками. Русская баба, в поту, еле двигает—сдвигает с платформы мокрый снег двуручным скребком, приседает от тяжести его с налипшим снегом. Скребок сотворён так, что очень широк—для двоих-троих, не меньше. Баба уже и сама еле двигается, телогрейка хоть выжми.

Ей—другая такая же—кричит с противного конца платформы:

—Анна Тимофеевна, тяжёлая лопата. Да снег налипает ещё!

В ответ:

—Какая разница, Тань, тяжёлая ли, нет ли?... Мне быстрее надо!

В этом вся русская женщина, безропотно-терпеливая страдалница. Русская женщина не думает о себе, а вот быстрее надо—и всё. А зачем быстрее? Затем, что и там, куда спешит она,—и там дела, скорее всего тяжелее, чем даже и скребком возить.

И вот, проходя, спросил:

—Помочь?

Взглянула, взмахнула рукой:

—Сама управлюсь.

—Когда же отдыхаете? Каждое утро с темна—вы уже здесь.

—Когда сдохнем—тогда и отдохнём.

Как глубоко, страшно виноваты мы, русские мужики, перед ними. Бездонна, неумолима вина наша, и «к небу вопиет», как великий смертный грех... Мыслима ли вот за таким скребком американка или голландка? А немка?

Быть может, оттого и живёт наша Россия так, что безжалостны мы к нашим женщинам, жёнам...

Где вы, мужики русские? Ау!..

Переход подземный к Рижскому вокзалу. Сидит, просит подаяния стриженный наголо мальчишка лет девяти. Перевёрнутый картуз совершенно пуст. Он сидит как зачарованный. Недалеко от него—безрукий старик, подняв кверху глаза, будто молится. У согнутых коленей—несколько мелких железных монет. Ещё через двести метров—стоит овчарка. Прижав уши, она держит банку из-под майонеза «Провансаль». Эта баночка—пластмассовое ведёрко—доверху набита бумажными купюрами.

Выживет ли такая нация, которая предпочитает ближнему, спасению жизни ближнего—«спасение» собаки. На выходе из метро, у забора с кустами, всё усыпано одноразовыми, белое с красным, словно поплавками,—одноразовыми шприцами. Недалеко храм Святого мученика Трифона, днём он всегда пуст.

Теперь это кажется невероятным, но я помню, как меня крестили. Мне было два месяца от роду.

Церковь казалась безмерно высокой. Я глядел вверх—как в трубу, уходящую шатрами среди изгибов свода. И спланирована она была так, будто купол вверху оплетён паутиной «хоров»—хоровые выемки, с окошечками-полусферами.

Со словами священника: «Дунь и плюнь»,—помню, мне стало невыразимо страшно, я завозился и заплакал...

Особенно поразило меня, месячного (странно, что я всё это помню), тогда,—поразило то, что едва священник понёс меня куда-то (как оказалось позднее—в алтарь)—во мне тут же подало голос некое мудрое и всезнающее существо. Существо это, я знаю, есть во всяком человеке. Даже не существо—сущность, некая субстанция... Оно и сказало мне, что несут меня в алтарь, и ещё сказало, что я напрасно жду чуда. Напрасно жду. Чуда явления Света не будет...

Кто-то—то ли вне меня, то ли—совсем рядом, то ли—во мне самом,—морочил меня, смеялся язвительно надо мной. И при этом казался совершенно прав: там, куда меня принесли (в алтарь), и в самом деле не случилось никакого чуда, хоть душа ждала и замирала в ожидании этого чуда. Красивые семисвечники и на стекле икона Христа со вскинутой рукой—вот и всё, что способно было удивить неискушённый взгляд младенца. То, чего предвкушало сердце за Царскими воротами,—не было... И от этой внезапно открывшейся пустоты, отсутствия ожидаемого чуда, от испуга перед грядущими трудами и тяготой жизни—так занемело испуганное маленькое сердце в моей груди!

До сих пор помню—и то разочарование, которое постигло меня тогда при крещении и которого, подобного ему, я не испытывал впредь никогда. «Смотри, никого и ничего здесь нет,—словно шепнул мне кто-то слева,—алтарь пуст... Он пуст всегда...» И я обомлел от испуга.

Но—отчего и чьё было это нашёптывание? Не знаю до сих пор. Странно, что этот «кто-то» оказался прав: ничего того, ради чего замирала душа моя и от кого ждала радости—Того, ради Которого я и пришёл,—никого Этого Тайного, зримого—не встретил я и впоследствии. Только Тень... Величайшую Тень Его всеприсутствия.

Но и Тень, если увидеть Его духовными очами, поражает.

Детство закрепило в памяти: днями, а зимою—до глубоких сутемок, гулял я в одиночестве. Если в городе Кирове—то уходил в промышленную зону, ходил по механическим мастерским, бумажным и цементным заводам. Если в рязанской деревне—то до татарских и мордовских посёлков, до святого источника села Кошебеево, вёрст за сорок-пятьдесят. И никогда не чувствовал, чтобы мне было скучно или одиноко. Это нередкое ощущение тоски и покинутости, даже и среди весёлой компании

друзей,—оно появилось потом, позже. Когда? Наверное, после падения. Это падение и стало для меня вкушением «запретного плода» от дерева.

...Кажется, ушедшим в монастырь, вернувшимся к естественному детскому состоянию, должна быть легче и понятнее жизнь, что крутится каруселью, волчком вокруг быта.

Ну а мне, мне самому, если бы пришлось сегодня выбрать: какой стезёй идти, стезёй тоски или стезёй одиночества,—что бы я выбрал? Не знаю.

Только кажется с высоты сегодняшнего дня—выбрал бы уж явно не тоску...

Помню (по детству), мужик жил в нашей деревне, всё у него: «Ну ладно». Выдержан необыкновенно, весь в себе. Придёт, вздохнёт, сядет на табурет: «Ну ладно...» Если работает, силы невероятной, злой на работу,—поработает, опять посидит, вздохнёт... И так вздыхал он, так умел глядеть вдаль, словно в Бога веровал (тогда все прятали веру, даже в деревне).

Жену свою он почему-то в шутку прозвал «семь на восемь». Или, уходя, теще:

—А жене скажи, что в степи замёрз.

Та в ответ:

—Я те замёрзну, охлом, а охлом...

Она всегда добавляла это «а», как апостроф во французском, с прононсом: «Дурак, а дурак...»

—Что ты в карман-то спрятал опять? Деньги, пооди? От семьи тащишь-прячешь?

—А это у меня горловые...

Однажды так и ушёл с «горловыми». Ушёл совсем. Спокойно и неожиданно. И никто до сих пор не знает, жив он или нет.

И это тоже свойство русского странного характера: терпеть-терпеть, да вдруг и выкинуть такое колено, что никто не ожидает и не готов к нему. Даже и сам сотворивший «колени».

Бог наградил старостью, дряхлостью человека, чтобы смирить его недугами и немощью, а ещё—удлинить «ростани» с жизнью, не делая их нравственно особенно тяжёлыми: одно дело—уходить в пятнадцать-двадцать лет, и совсем другое—в семьдесят-восемьдесят, обременённым болезнями...

...А вот и я скоро подойду к полувеку. И хоть это ещё незаметно мне самому, а только, верно, со стороны, по определённым чёрточкам и морщинам,—ветшает тело, эта храмина души... Так точно истончается зимний лёд на стекле. И всё светлее, яснее и надёжнее за этим стеклом—видны дали, и солнце, и зубчатый лес, и поле в засохших осяхх польни. И за этим льдом-клетью бьётся клокочущая, всё ещё страстная и требовательная, к Богу медленно возрастающая душа. Но рано или поздно—разобьётся и этот стеклянный, ледяной сосуд, и миры снежного ясного поля и тёплой натопленной комнаты соединятся. И зимнее утро

заберёт это тепло, не заметив... И этого «разбиться в стихии» — не минует никто. Ни царь, ни раб. Ни умница, ни глупец. И это — единственная подлинная справедливость и очевидность этого мира. Очевидность, с которой не поспоришь.

Шабашники работали в совхозе. Прекратилась поставка материалов. Шабашники грамотные, все с институтскими дипломами, затребовали по договору неустойку от подрядчика. Грамотно обосновали всю ту сумму денег, которые они могли заработать за всё то время, пока им не подвозили материал: цемент, брус, кирпичи. И... получили эту неустойку-штраф. А получив, на радостях уехали пьянствовать. Остался один. Вместо сторожа. Сам, в одиночестве, кладёт стену, подносит блоки, замешивает раствор. Неподалёку сумка — битком набитая непочатыми жестяными банками пива... Это уже потом мы, студенты стройотряда, узнали, что он долго сидел по тюрьмам.

Сдержан во всём необычайно. В словах, в поступках, даже в жестах и эмоциях. Единственно — то и дело варит чифирь в алюминиевой кружке, привязанной проволокой к живой ещё (чтоб не прогорала) ореховой палке-лещине.

Мы приехали на уборку картофеля. Подошли. Подозревали, что не пьёт, потому что на себя не надеется. Мы были тогда молоды, максималисты. Окружили его. Стали помогать от нечего делать. Кто-то уже распечатывал с сочным треском баночки с пивом. Он только посмеивался. Разговорились о жизни, о его жизни и ахнули. Оказалось — перед нами едва ли не великий человек, подвижник, анахорет, аскет. А сидит в клетчатой рубашке, подолом утирает пот... На церковь зарабатывает, строит храм.

— Отдохнём?

Кто-то из нас стал рассказывать с возмущением: — ...А то тут, в райцентре, милиционер коррумпированный, конечно, зарплата — шесть тысяч рублей. Свою палатку пивную открыл. На жену записал. Жена и торгует. Порядок — невообразимый. Мы зашли на минуту, а пиво — это не пиво, а вода, моча. Даже не пенится нисколько. Это пиво уже один раз пили...

Он смеётся:

— Это так. А то ведь мы как живём... Некоторые называют это: «не умеем жить». Знакомый мой давний в тяжёлые голодные времена нанялся сторожем на давальню, думал, жмыха вволю натакает. С ним — жестянщик с отрезанной пяткой. Украли они и спрятали мешок ворованных семечек. — И что? Посадили? Лет по пять вкатили, как два пальца об асфальт...

— А у них у самих украли. Так ни с чем и остались... — Так что, разве это не неумение жить, ведь так? — Это? — он подумал, покусал травинку... — Это — судьба наша русская. Вековечная...

Земная жалость, любовь человеческая — лишь отзвук Любви Божьей. Оттого — так и велико, и трагично разочарование: «разлюбил» или «разлюбила». Эта боль — именно оттого, что корень любви-жалости не на земле, а в небе, в духовном мире. Люди же — любовью земной живут, верят в неё безоглядно, полагают — начало и конец её здесь, на земле. И тем трагичней обман, разрыв... И душа человеческая мятётся, страдает невыразимо, — путает: ей кажется, что порвана не земная и брэнная связь, а порван сам корень — любви небесной. Многие ли могут перенести? От этого — такие трагедии. Надо понять: лишь Божья Любовь не обманывает, не предаёт. Не путать земное с небесным. Вот отчего сказано, что — нет таковых из людей, «кто оставил бы и мать, и отца, и жену, и детей» ради Христа и любви ко Христу — и не обрёл бы в тысячу раз больше... Чего же больше? Любовь Божью, Любовь взаимную, безо всякого обмана, Любовь вне времён и пространства.

Та же любовь, которую мы ищем здесь, на земле, и находим лишь тень той, желанной, ради которой только и стоит жить, здесь — быстрый и неуловимый блик её.

Ищем всю жизнь, мучаясь и не обретая...

Писательство есть наблюдение внутреннее за собой и другими, писательство за столом при оформлении мыслей — шитьё золотом. Оно отнимает столько времени, столько сил и воли, что кажешься порой выжатым совершенно и... счастливым. Но счастливым — на очень короткое время. Едва отдышишься, опамятуешься от переживаний и мыслей, и вот следом уже идут, тут как тут, — пустота и удущье. За призрачную и краткую радость творчества — многие заплатили трагедиями, кровью, жизнями.

Как часто и с разных сторон, по разным поводам говорит Христос в Евангелии о том, что богатство, деньги — главное препятствие восхождению человека в царствие небесное. Почему? Потому что именно через деньги, имущество человек прочно утверждает себя именно в этом мире, пускает глубокие корни своих забот, чаяний и опасений, и этот мир тянет его вниз, как якорь. Через деньги — подчиняет человек и ближнего своего, принуждая работать на себя, поработачивает его, не только всё более утверждая через деньги свои притязания на его, ближнего, свободу, закабалая его, но и прямо отрицая его волю (а это само по себе в корне противоречит главному условию спасения). Главное же учение аскезы — не только возлюбить ближнего как самого себя, но и отринуться своей воли и тем самым очиститься для принятия благодати Божьей. Значит, деньги, злато — прямой противник благодати Христовой. Не случайно причиной гибели Христа стала алчность Иуды (ближнего Христу),

апостола. С куском хлеба (по поущению Сына Божьего) вошёл в него сатана и легко принудил продать Бога-Слово за деньги. Даже прозрение Христа в душу Иуды: «То, что делаешь,—делай скорее»,—не испугали и не остановили предателя.

Мы также знаем, что за предательством последовало. Тридцатью сребренниками Иуды возвращёнными, брошенными им, не захотели воспользоваться и сами подкупившие его первосвященники. Куплена была на эту сумму Земля Горшечника, годная лишь для погребения странников. Названа она была Землёй Крови. Но что же главное во всей этой евангельской истории? Не воздействие ли первосвященников на Иуду деньгами? Они отрунули его волю, подчинили и утвердили свою. И этим полностью утвердили притчи Иисуса о богатстве и деньгах, о том, «...как трудно надеёмся на богатство войти в Царство Небесное».

И ещё... более того: не просматривается ли здесь того подобия, что и вся Россия сегодня куплена христианами? Не просматривается ли здесь, что и она—стала «Землёю Крови», проданной и продаваемой через иуд, нескончаемо, всё время—вслед за обдуманной казнью Белого Царя? И долго ли ещё протянет она, опустошённая, обезображенная и униженная, годная сегодня лишь для того, чтобы хоронить в ней странников—пришлых да своих нищих?... Земля Горшечника, Земля Крови, Антиминс Миру... Россия...

Соседка по кооперативу пришла агитировать за то, чтобы поставить подпись под агиткой за нового соседа, выдвинуть его в депутаты местного самоуправления. Сосед этот купил недавно землю в собственность.

— Кто он?

— Начальник УГРО по борьбе с бандитизмом. Молодой, деятельный. Двадцать девять лет.

— Богатый, ишь какую стройку развернул...

— Да кой там богатый? Пятнадцать тысяч оклад, сами знаете, как нынешней милиции платят. А его я знаю, бывший мой ученик. Очень надёжный...

— Я вижу. Пятнадцать тысяч, а такая дачка. Лет сто—сто пятьдесят с его зарплатой работать надо... Вижу сам.

— Да говорю же, бандитов ловит. Подпишите вот здесь.

— Не ловит, а отпускает?..

Обиделась, хлопнула дверью, ушла.

Станный народ. Или время такое? Вслух правду не скажи. Даже и думай—и то осторожно...

Всё сетовал внутренне, переживал эту жизнь, клял себя за безденежье, суету, озабоченность и невозможность стать выше, освободиться от бремени этих огорчений. И вдруг подумал: «А что, если бы на моём положении и на моём месте был мой сын, что, если бы он подошёл со всем этим ко

мне и попросил совета? Что бы я ответил ему на всё это, от чистого сердца?» А сказал бы, что всё проходит. Что нужно от жизни нам? Ложку каши, здоровые сердце и лёгкие. Руки-ноги да кое-какую одежду, чтобы надеть её, и она не была бы срамом. Да ещё вот: делать дело, и делать с весельем и утешением. Работать над душой, записывать мысли для пользы этого духовного дела, для того чтобы можно было пересмотреть их и переоценить пройденный путь, чтобы жить со вниманием.

И ещё я сказал бы ему: «Сын, несмотря ни на что, человек не может быть несчастлив. Все мы—дети Божьи. Положись на Его волю и попробуй жить радостно и достойно...» Сказал так мысленно—и стало легче самому, словно сказал и сыну, и сам себе... Душа наконец услышала свой голос и успокоилась.

Святая София—храм в Константинополе, чудо света—впервые была разрушаема и ругаема вовсе не мусульманами. Мусульмане впоследствии обратили этот великий собор в мечеть. Даже и мусульмане не могли не признать его величия. Святая София была поругана... крестоносцами-христианами.

Поразительно, как невероятно всё переплёл и перевернул на этом свете «отец лжи». Недавние реставрационные работы в Святой Софии открыли фрески страстей Христовых, неизвестные до сего дня. На фресках—карточные масти: «крести»—крест Христов, «пики»—пика, прободавшая рёбра Христа, «червы»—сердце Спасителя, «бубны»—эти страшные четырёхгранные гвозди, коими был пригвождён Христос. И всё это—дано в изображении страстей, в облаках этих страшных мастей, на фоне их...

В мусульманских странах играющие в карты подлежат суду шариага, наряду с воровством и прелюбодеянием.

И вот сегодня покерные залы-павильоны будто бы оправданы, а игры в карты пытаются включить в список олимпийских состязаний. Вероятно, скоро и в школах станут изучать методы игры в эти безобидные, раскидываемые веером листы четырёх мастей. Протестанты, лютеране и баптисты обожают отстроженные с размахом города-рулетки. Москва июльская с 2009 года решила расселить огромное убожество своих карточных притонов во множестве, даже и по нищим городам и весям. Неизвестно, как долго продлится эта приверженность мира четырёх мастям, игре с судьбой.

...Святая София была разрушена «братьями по вере». Хороши же «братья». А ведь они «взяты из христианской» среды. Такова же и «среда». Католицизм не раз ходил войной на Россию и был побеждён и рассеян. Протестантизм во времена Анны Иоанновны—был изгнан. Оккультизм фашизма—тоже. И вот в наше время, на наших глазах—новое нашествие протестантизма, теперь уже экспортируемого из Америки.